

Вещь

2(19)/2019

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Проза

Виталий Аширов

Семен Ваксман

Поэзия

Вера Котелевская

Елена Сиренева

Критика

Ольга Балла

Юлия Подлубнова

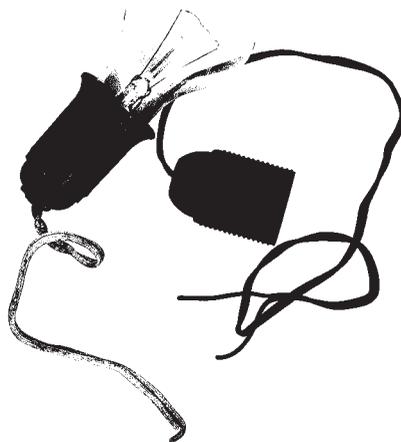


Вещь

2(19)/2019

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

18+

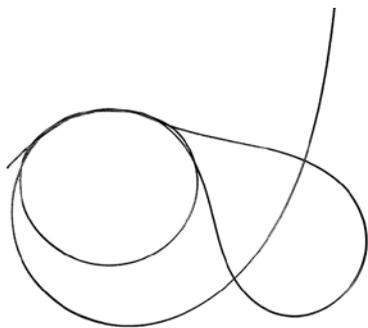


- 3**Вера Котелевская** *Оливковый взмах на стене (стихи)*
- 8**Саммер Ленц** *В гостях у Денисовых; Договор (два рассказа)*
- 20**Елена Сиренева** *Ну скажешь тоже (стихи)*
- 25**Виталий Аширов** *Черный коралл (повесть)*
- 76**Юлия Подлубнова** *Сознание плюс неврастения (стихи)*
- 78**Ирина Подюкова** *Филемон и Бавкида (рассказ)*
- 80**Даниил Емцев** *От сердца к сердцу (стихи)*
- 85**Семен Ваксман** *Папа, это я (фрагменты документального романа)*
- 101**Ольга Балла** *Воздух над обрывом: весёлая наука Виталия Кальпиди (критика)*
- 106**Юлия Подлубнова** *Уральская вавилонская (критика)*
- 109**Сергей Сенковский** *Искусство ускользания (критика)*
- 113**Алексей Лукьянов, Егана Джаббарова, Юлия Баталина, Сергей Сигерсон, Александр Моисеев** *Между клише и кушеткой; «Пламенный череп в немеющих руках»; Роман журналиста; Свести несводимое; Снести несносимое; Троя, Итака, Свердловск – и далее везде (рецензии)*
- 127**Авторы номера**

Вера Котелевская

Оливковый взмах на стене

Из «Книги фигур»



Прошлого нет.
Запах ила и вербы
всё ближе.

Пятна клубничной крови
в садовой траве:
забивали курицу, не удержали.

Нет и общего прошлого,
коль скоро и мы
порознь.

Марля тумана
бинтует себе потихоньку
то и это, здесь и там.

Никогда не носила
ключ на шее.

Значит, и там
буду свободнее прочих.

11.12.2018

Вдруг выйдем — и
наберём воды впрок.
Дождя, рваной ваты
снега и синей, затем
чтобы пить.

И можно затем
 никуда не ходить.
 Попить тишины,
 подержать руки
 в руках.
 Нарвать травы,
 повернувшись одновременно
 к поезду, солнцу, луне, пустырю
 футбольного поля,
 раскатам *такого-то* детства.

18.12.2018

поздним утром такого-то
 бутылочного стекла
 блик оливковый взмах на стене
 прорези жирных балконов
 птицы дворов
 няни детей
 шофёры машин

медленный поворот
 головы
 целых кажется двадцать
 лет жили вместе —
 но нет
 одиннадцать
 точно угольные ноги ворон
 в жавороночьем синем снегу
 в рассыпчатой влаге
 той
 акварельной бумаги

14.01.2019

у них это было:
сгинуть в метель
 заплутать, закружить

разматывая кружева
 увидишь на миг
 орнамент —
 лошадь и смерть
 ледяные
 красивые
 зажмурившись
 поправляешь холмы одеяла

ставишь будильник

26.01.2019

со дна морей
 достаю хворь:

какая она тогда
 была? такая ли,
 как сегодня —

сейчас, этой серебряной ночью,
 жрущей мой свет,
 пьющей вовсю
 обоняние-осязание?

глупый урок физкультуры
 мартовская свирель
 грушовка-речка
 резиновые сапоги
 малярши в сукне
 лимонная эмульсионка

постоянно
 путаешь эти и те
 слои
 перемахиваешь десятки
 (лет)

комкаешь нежные
 тетради-утопленницы

28.01.2019

Я лучше схожу
в музей.
Там чёрная ваза мертва.
Подставляясь взгляду,
она не может не знать, как прекрасна.

Так мёртвой царевны
не может окончиться срок,
а мой век —
на исходе.

То-то бардак,
расточительность, карамельная ломкость,
как в бакалее времён
переворота.
И это шаманство, когда,
не спрашивая, запускаешь язык
в самый мозг —

и пробуешь краем
холмистый рисунок.

7.08.2018

В этой другой
жизни
люются русалочки волосы —
линии на лобовом
стекле
беспутность памяти

отворяются двери
и змеи втекают по чёрным дорожкам
сада
выпуклые и тугие

мне некому
произнести: я

здесь предпочтительней
возвратные формы глагола
в третьем лице

змеи твои
обезглавлены
ржавая миска
опустошена чужой собакой

ничего не хранится
(тебя кроме
под створкой сновидческой
лба).

19.03.2019

на бумаге
плотское перестаёт быть бесплотным
наливается гневом и разумом
расправляет плечи
склоняет овечью голову

я хочу иметь дело
только с тобой

большими, распаханными для сумасшествия
днями —

где вещь вырастает с дом
и пахнет снопевческим илом
опасно сближаясь с сетчаткой —

саботировать
(время, место, действие)

слушая плеск
последней водички

30.07.2018

Август выжал.
Чёрный чай
южных небес
диковатых, усеянных снегом.

Запрокинув голову,
не дышать,
не ждать простых вещей,
не производить сложных.

Когда возвращаешься воров оттуда,
молишься тут на перекрестья рам,
боготворишь эти белые строгие планки,
сдаёшься рисунку —
ждёшь запаха яблок-в-соломе
от узеньких форточек —

глупости, а! хлопаешь дверью,
выходишь на службу.

28.08.2018

завтра уже минус один
снег
на ветру
мыкается фитилёк
вот-вот сгинет

на столе — работы китайских студентов
о джойсе
лимон, треугольные шляпы, полосы риса
почерком каллиграфическим
(сдуто из википедии, это натюрлих)

как я люблю небылицы

твои небылицы любила
рой партитур
краденые утра и холодок
их
кутаясь в речь ненашу
закатывать первый скандал
восхищаться собой —
взрослой

12.11.2018

Переплёты окон
хватают взахлёб
снег.
Дерево рам оттаёт
и будет чуть сладким.
Ничего своего
не было:
книги, тетради.
И чёрная горка
с чужой зелёной посудой.
Когда проезжал трамвай,
салатницы делали «ззз...».
Думалось: нет, так хорошо
быть не может. Ещё
было можно не вздрагивать по будильнику.

Приходил
друг, другой, и черви шелковицы падали
в снег,
и всё завершалось —
и не кончалось.

13.11.2018

А на дорогах
гололедица.

И флюс
у тонущего под подушкой
ребёнка.

И твой бессеребряный голос
о горной реке, бегстве, постыдном затем
возвращении.

И тощие плечи мои
после болезни.

И море.

Когда впервые
видишь папоротник
поверх апрельского моря,

вдыхаешь постыдную соль
нефти, похоти, водорослей,
больше не можешь болеть — больше

не можешь.

2.12.2018

не отпускаешь но
как только —
я наконец заговорю прозой

станет морозным
воздух

скрип рыжего от золы
снега

безымянное небо деревни
ржавая древесина сараев —
ото всего
больно и радостно

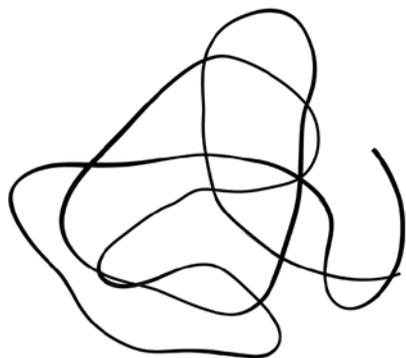
все эти спрятанные до поры
предметы
встанут передо мной

и даже ты
превратишься в далёкую
острую как уголёк
фигурку

11.12.2018

Саммер Ленц

В гостях у Денисовых



Когда ты толстая, некрасивая, да ещё и с лёгким косоглазием, друзей у тебя в классе нет. В первом классе Сусанну пытались задирать, но она была старше всех, выше всех и сильнее всех, за словом в карман не лезла, и от неё быстро отстали. Со временем Сусанна и одноклассники научились взаимодействовать по самому минимуму, и всех это устраивало. Сусанна надеялась, что так продолжится до окончания школы, но в десятом классе, в самом начале учебного года, в класс пришли новенькие, близнецы Денисовы, Владимир и Екатерина. И Денисов сразу сел за парту Сусанны и спросил:

— Тоже по «Ходячим...» угораешь?

Сусанна не угорала, но худы с принтом из «Ходячих мертвецов» не снимала до тех пор, пока не узнала, что это любимый сериал

сестры Денисова, а сам он предпочитал «Рика и Морти» и «Злоключения Флэпджека». Тогда ей стало стыдно за малодушие, и она наказала себя ношением каких-то обтягивающих девчачьих тряпок, которые ей и в голову бы раньше не пришло надевать. Она думала, что в классе над ней будут смеяться, но все были влюблены в Катю, и атмосфера в коллективе опасно стала напоминать кульминацию романа Патрика Зюскинда «Парфюмер», прочитанный Сусанной летом тайком от родителей. Все всех стали любить, обниматься при встрече, и в этой гламурной обстановке Сусанне стало даже хуже — телесный контакт она вообще не переносила.

Волна братско-сестринской любви схлынула к концу первой четверти, отношения в классе нормализовались, но центром вни-

мания по-прежнему оставалась Катя Денисова. Она была умная, красивая, приветливая девушка, учёба и внеклассная жизнь давались ей одинаково легко, она без труда находила общий язык со всеми. При встрече Катю хотелось потискать, поделиться с ней конфеткой и поправить бантик. Зато её брат, которого все, даже сама Катя, звали просто «Денисов», не особенно любил общаться. Чаще он тупил в смартфон. Но при этом он знал, где можно найти партнёров для покера или «Манчкина», и вместе с Сусанной играл в ЧГК и волонтерил в приюте для бездомных животных.

Сусанна вовсе не была в него влюблена. Может, сначала да, но потом это прошло. Денисов был как пёс из приюта: хороший, но домой забирать не хочется. Правда, дома у Сусанны Денисов бывал всё-таки неоднократно, и даже наравне с прочими друзьями не из класса заслужил привилегию без спроса вторгаться в холодильник.

Поэтому для Сусанны крайне обескураживающе прозвучала просьба Денисова не приезжать к нему завтра на день рождения.

— Почему? — спросила она. — Катя же всех пригласила.

— Все меня мало волнуют, они Каткины друзья. Я тебе одной говорю — не приезжай. А то обижусь.

— Да не всралась мне твоя днюха, подавись, — ответила Сусанна как можно спокойнее.

Она сразу ушла из школы, хотя оставались ещё химия и две литературы, предметы, которые ей нравились больше остальных. Отключила телефон и поехала в приют, чтобы отвлечься, и отвлеклась настолько, что домой вернулась в двенадцатом часу ночи, усталая и опустошённая.

Родители встретили её у порога.

— Это что за закидоны? — спросил папа.

— Я не могу сейчас говорить, — ответила Сусанна.

— А когда? — спросила мама.

— Завтра. Или в понедельник.

— Мне кажется, кому-то в детстве доставалось слишком мало поджопников, — заметил папа. — Мой родительский инстинкт требует компенсации.

— В понедельник, — пообещала Сусанна и закрылась в комнате, где бухнулась на кровать пореветь, но неожиданно заснула. И проснулась только следующим утром, да и то потому лишь, что трезвонил телефон.

— Кто это? — спросила она, потому что номер был незнакомый.

— Сусанна, мы тебя потеряли! Ты далеко?

— Э... Катя? Кажется, я не смогу, извини...

— Ты дома?!

— Я проспала. Извини...

— Скажи адрес, мы заедем.

— Не надо!

— Мы уже едем, говори!

Возразить было невозможно, и Сусанна сказала. Катя обещала, что через двадцать минут подъедут. Сусанна заметалась по комнате. Одни сплошные проблемы из-за этих Денисовых. Стоит представить физиономии одноклассников, вынужденных ехать за непонятно кем... то есть за кем — понятно, а вот зачем... короче, одного этого хватит, чтобы выброситься из окна или выпить эссенции.

Она заскочила в ванну, выдавила зубную пасту в рот, хлебнула воды и, пока стояла под душем, гоняла эту жижу сквозь зубы. Хорошо, что волосы короткие, сушить не нужно. Пока переодевалась, осмотрела свою книжную полку и выбрала подарок — «Гаргантюа и Пантагрюэля» с иллюстрациями Доре, на которую давно заглядывался Денисов. Для Кати она взяла Кинга, после чего напялила кеды и вышла из квартиры.

На улице Сусанне сразу захотелось есть, пить и в туалет. Она глянула на экран смартфона. Двадцать минут уже прошло, никто не ехал. Сусанна загадала: если через пять минут никто не приедет, она отключит связь, и вернётся домой, и грохнется обратно в постель.

Но уже через минуту перед ней остановился длиннющий серебристый лимузин, дверь открылась, и Сусанну встретили такие радостные вопли, будто день рождения отмечала она, и лимузин заказала тоже она. Несколько рук схватили её за что придётся и втащили в салон.

Сразу стало понятно, почему никто не возражал заехать: салон автомобиля поражал роскошью, играла музыка, пахло фрук-

тами и шампанским, Сусанну обняли и даже поцеловали в щёчку несколько одноклассниц (Сусанна очень надеялась, что они уже пьяные и завтра забудут об этом эпизоде), всем хотелось подольше нежиться на диванах, высовываться в люк и орать глупости на всю улицу.

Остановилась машина примерно через четверть часа, одноклассники радостно ломанулись на выход. Сусанна вышла последней и увидела улицу, напоминающую загон для скота: заасфальтированную проезжую часть без растительности и пешеходных дорожек, и сколько видел глаз – заборы, заборы, заборы, разных цветов, вида и высоты, но абсолютно глухие. За заборами возвышались особняки в два, три, а некоторые и в четыре этажа.

Дом Денисовых был двухэтажный, из красного кирпича, с большими окнами. Над коньком крыши лениво поворачивался флюгер в виде парусника. Двор, через который они шли к дому, казалось, никогда не закончится. Причём ничего, кроме газонов, в этом дворе не было. Ни кустов, ни теплиц, ни грядок. Футбольное поле, а не двор.

– Вы тут следующий чемпионат не хотите провести? – спросила Сусанна.

Одноклассники посмотрели сначала на неё, потом на Катю. Катя весело рассмеялась, и все тотчас её поддержали. В приподнятом настроении они ввалились в дом.

В прихожей налево была дверь в огромную, почти как в школе, раздевалку, где все снимали куртки и кепки. Разоблачившись, они вышли в огромный светлый холл, где легко могла разместиться бабушкина однушка. По обе стороны холла на второй этаж вели широкие лестницы. В пространстве между потолком второго этажа и полом первого (вспомнилось красивое словосочетание «второй свет») переливалась всеми цветами радуги огромная люстра с хрустальными висюльками. На балконе второго этажа стояли родители Денисова.

Выглядели они так, будто только что приехали с какого-нибудь дико дорогого курорта: загорелые, ухоженные, расслабленные. Одеты они были во всё светлое, мама Дени-

сова держала в левой руке стакан с апельсиновым соком, у отца в правой был бокал с чем-то ярко-рубиновым, скорей всего – вином. Внешне Сусанне они понравились. Отец Денисова выглядел гораздо лучше, чем на фотках в новостях, мать вообще обладала модельной внешностью, но во всей их внешней привлекательности не было ничего искусственного, они не выглядели моложе своих лет. Просто лучше, чем выглядят иные их ровесники, например – родители самой Сусанны.

– Здравствуйте, – сказали родители.

– Здравствуйте, – хором ответили одноклассники.

Сусанна оглянулась. Денисова нигде не было видно. Испытывая неловкость, Сусанна пошла осматривать дом.

Места здесь было много. Из холла Сусанна свернула в левое крыло и сразу оказалась в гостиной, в центре которой громоздилась куча разноцветных коробок, перевязанных лентами. Здесь она увидела плазменную панель в половину стены, целую горную систему мягкой мебели, различные безделушки на полках вдоль стен и даже небольшой фонтан в углу. В фонтане сновали разноцветные мелкокалиберные рыбки и лениво шевелили плавниками золотые рыбины с выпученными глазами. Рядом с фонтаном располагалась двустворчатая застеклённая дверь. Через неё Сусанна увидела стол с яствами, в центре которого возвышался торт со свечкой в виде цифры 32. Столовая, догадалась Сусанна, но зайти туда не решилась, и даже напротив – вернулась в холл и отправилась исследовать правое крыло.

На первый взгляд, оно представляло собой глухой широкий коридор с дверями по левую и правую стороны. На некоторых дверях висели таблички – ванная комната, мужской туалет, женский. Однако дойдя до конца, Сусанна поняла, что ошиблась: коридор оканчивался не глухой стеной, а ещё одной дверью, выкрашенной под цвет стен, без ручки, но с замочной скважиной. Возможно, подсобка или подвал, но спросить всё равно было не у кого. Судя по звукам, домочадцы и гости собрались на втором этаже.

Сусанна решила не мозолить им лишний раз глаза, попробовала ближайшую дверь справа и оказалась в библиотеке.

В застеклённых шкафах она увидела лишь энциклопедии, биографии великих людей и книги по экономике и политологии. Никакой беллетристики. Сусанне сразу стало скучно, и она подошла к окну. Окно выходило на задний двор, и сразу стало понятно назначение двери в конце коридора. Она выходила прямо на улицу. Очевидно, это что-то вроде пожарного выхода, либо через эту дверь что-то заносят в дом — мебель там, продукты, книги.

— Ты ведь Сусанна?

Сусанна резко обернулась и столкнулась с мамой Денисова. Из стакана, который мама Денисова держала в руках, на ковёр выплеснулся сок.

— Ой! Извините, я сейчас всё уберу, — Сусанна стала рыскать по карманам в поисках носового платка.

— Глупости, я потом сама уберу, — махнула свободной рукой мама Денисова. — Я тебя напугала?

— Немножко, — призналась Сусанна. — Я просто не ожидала...

— Даша, — представилась мама Денисова. — Просто Даша, без «тётъ» и отчества.

— Очень приятно.

— Я тебе сок принесла, — мама Денисова протянула наполовину пустой стакан.

— Извините, у меня аллергия на цитрусовые.

— Пойдём, я налью тебе то, что можно.

— А можно, я подожду, пока торт будет? — смущённо спросила Сусанна.

Мама Денисова рассмеялась приятным смехом:

— Да, Катя говорила, что ты скромница. Как ваши дела с Вовой?

— С кем? — не поняла Сусанна.

— С моим сыном.

— Ой, извините, — Сусанна смутилась ещё сильнее. — Даже забыла, как его зовут, мы друг друга по фамилиям называем.

— И какая у тебя фамилия?

— Судницына.

— Ты извини, но мне твоё имя нравится больше, чем фамилия.

— Ничего. Мне тоже.

— Ну, хорошо, не буду мешать. Если заскучаешь — я в столовой.

Мама Денисова вышла, а у Сусанны осталось странное впечатление, будто её оценивали.

Некоторое время Сусанна ходила вдоль книжных полок, но так ничего интересного для себя и не нашла. Зато нашла коробку с салфетками на читальном столе, обрадовалась, достала одну салфетку и вернулась к месту аварии, чтобы вытереть с ковра пролитый сок. Однако пятна она не нашла, как ни искала. Пол был чистый, а на ковре даже мокрого пятнышка не осталось. Это обстоятельство Сусанну удивило, но заморачиваться она не стала — видимо, не так много сока пролилось.

Библиотека располагалась в угловой комнате, и если одна внешняя стена, как уже выяснилось, выходила на задний двор, то другая — с большой стеклянной дверью в стиле ар-деко — вела на террасу. Туда Сусанна и вышла.

На террасе стояло несколько складных стульев и круглый стол. Похоже, с зимы здесь пока ещё никто не сидел. В соседнем помещении был зал с длинным Т-образным столом и офисными креслами, очевидно, там отец Денисова проводил официальные встречи. Туда Сусанна заходить не стала, просто посмотрела в окно, после чего подошла к краю террасы и облокотилась на перила. Было скучно и хотелось домой. Чтобы как-то скуку развеять, Сусанна перелезла через перила и прыгнула во двор, чтобы как следует осмотреть дом снаружи, и решила сначала ознакомиться с задним двором.

На заднем дворе было пусто: ни хозяйского, ни собачьей конуры, ни мангала, ни печи для барбекю, какие показывают в фильмах про загородную жизнь. Всё тот же газон, и всё. Если, конечно, не считать двери, расположенной в полутора метрах над землёй. Судя по всему, это была та самая дверь, которой оканчивался коридор.

Крыльца не было. К двери вела только наспех сколоченная деревянная приставная лестница, которой, как ни странно, довольно

активно пользовались — на перекладинах виднелись следы. Сусанна подошла ближе.

На перекладинах были травинки, немного грунта, старый хабончик, выкуранный почти до фильтра, прилипший, видимо, к подошве человека, взбиравшегося по лестнице. Любопытства ради Сусанна тоже взобралась по лестнице до двери и нажала на дверную ручку — просто так, по привычке. Дверь неожиданно подалась, но не наружу, как предполагалось, а внутрь. Сусанна не удержала равновесия и повалилась вперёд.

Пол под руками оказался затоптанным и липким, Сусанна даже негромко вскрикнула от отвращения и быстро встала на ноги. Но вопреки ожиданию, она оказалась не в коридоре, где находились библиотека, туалеты и ванная. Станным образом пространство вывернулось, и она очутилась в прихожей. Но выглядела она иначе.

Вместо зеркального паркета — заплёванный, протёртый у дверей до дыр грязный линолеум. В раздевалке стояла вонь от прокисшего пива, вместо вешалок с плечиками в стены были вколочены ржавые гвозди, на которых и висела одежда. В холле тоже царил бардак, на ступеньках лестниц валялся мусор, в углах громоздились пустые бутылки, банки из-под пива и газировки, кое-где перила были выломаны. Стены преобразились: теперь их покрывали не обои и панели из морёной доски, а ругательства и похабные рисунки, сделанные подручными средствами. Только в некоторых труднодоступных местах под потолком можно было разобрать, что раньше они были выкрашены болотно-зелёной масляной краской, нанесённой прямо на побелку и потому отслоившейся и похожей на лишайные струпья.

В гостиной центральное место занимал продавленный диван. Он глумливо попирал собой неопределённого цвета палас со стёршимся у подножия дивана ворсом. Окна давно никто не мыл, шторы замусолились, запылились, а потом снова замусолились. На месте фонтана в неказистой сварной конструкции из углового профиля и арматуры стоял аквариум на сто литров с зацветшей водой и дном, усеянным рыбными скелетами.

Экран телевизора заплёван, пульт оплавлен. О происхождении пятен на паласе, стенах и диване думать не хотелось.

В это время наверху стало шумно, по лестнице загрохотали шаги, и скоро в гостиную ввалились одноклассники, а вместе с ними — родители Денисова. И если одноклассники выглядели как обычно, хотя одежда на них слегка запылилась, то хозяева выглядели совсем иначе. Отец Денисова превратился в огромного тучного мужчину в дорогом, но неопрятном спортивном костюме, с наколками на руках, золотой фиксой во рту и сигаретой в жёлтых пальцах. У мамы Денисова вид был измождённый, домашний халат застиран и заштопан, руки красные и узловатые, глаза ввалились, волосы собраны на затылке в неаккуратный пучок. Только Катя выглядела как одноклассники.

— Давайте к столу, — сказал папа Денисова, затянулся и выпустил в жёлтый потолок струю вонючего дыма.

Сусанна представила, какие угощения её ожидают, и её замутило.

— Сусанна, с тобой всё хорошо? — спросила мама Денисова.

— Да. То есть нет. Мне, наверное, уехать придётся. Я лекарство дома оставила.

— Может, такси вызвать?

— Нет, я сама. Извините... А Денисов... то есть Вовка... он дома? Я поздравить хотела, прежде чем уйти.

— Как поднимешься — первая комната направо, — ответила мама Денисова.

Сусанна осторожно поднялась по скрипучей лестнице, повернула направо и увидела филёнчатую дверь, на которой висела табличка «Без стука не входить».

Сусанна не постучала и не вошла. Тихо, чтобы Денисов не услышал её шаги, она спустилась вниз и вышла из дома, едва не сломав шею: она совсем забыла, что попала в дом с заднего входа, и вместо крыльца там приставная лестница.

Когда она пересекла двор и собралась уже выйти на улицу, её окликнула мама Денисова:

— Сусанна, ты куртку забыла.

Хороша! Деньги-то в куртке, как бы она уехала отсюда?! Сусанна обернулась.

На крыльце стояли все: одноклассники, родители Денисова, его сестра и он сам. Отец Денисова что-то спросил, мама Денисова ответила и сразу получила звонкую оплеуху. Мама Денисова только зажмурилась. Катя и сам Денисов втянули головы в плечи. Остальные ничего не заметили. Возможно, для них папа Денисова только чмокнул маму в щёчку.

Мама Денисова долго-долго шла к Сусанне через двор. Передавая ей куртку, мама Денисова тихо спросила:

- Ты что, зашла со двора?
- Я нечаянно, – ответила Сусанна.
- Никому не говори, ладно?

До понедельника Сусанна жила как в полусне, да и в школе никак не могла отделаться от мысли, засевавшей в голове с того момента, как она села в автобус, идущий от коттеджного посёлка Денисовых в город. После уроков, после волонтерской смены в приюте она пошла к Денисову и спросила:

- Пойдём ко мне?

– Ты уверена?

– Мне это нужно.

Денисов кивнул. Маршрутка довезла их до нужной остановки, но Сусанна повела Денисова к себе совсем другой дорогой. Они обогнули пятиэтажку, в которой она жила всю жизнь, и подошли к заколоченной двери чёрного хода, ведущего из подъезда во двор. Сусанна достала из рюкзака гвоздодёр, спёртый из приюта, и посмотрела на Денисова.

Они работали минут десять, сменяя друг друга. Гвозди вылезали из деревянных косяков с натужным скрипом. На шум выглядывали и ругались недовольные пенсионеры, но, когда дверь чёрного хода отворилась в темноту подъезда, рядом с Сусанной и Денисовым стояло уже несколько человек – кто с тяжёлыми пакетами из «Пятёрочки», кто с собакой, кто с коляской.

– Ты уверена? – повторил Денисов.

– Мне это нужно, – повторила Сусанна и вошла.

Договор

Сам я из гномов чичимека, или постарому – уза. В нашем клане, чтобы жениться, гном должен подарить невесте необычный подарок. Некоторые предпочитают невероятной формы и размеров самородки, иные в совершенстве осваивают какое-либо ремесло. И то, и другое трудно и долго, но вполне достижимо. А я, выпускник горной академии, решил преподнести избраннице новое месторождение.

Я мотался по пустыне с теодолитом, киркой, лопатой и мешком для образцов каждый свой выходной, возвращался под утро, накануне смены, весь в пыли, колючках и с десятком килограммов пустой породы в мешке. Никто не верил в мой успех, соперники обивали порог дома моей невесты, она и сама уже потеряла в меня веру и поговаривала, что выберет другого. Но я всё дальше и даль-

ше углублялся в пустыню, пока однажды утро не застало меня километрах в десяти от нашего прииска.

Я впервые возвращался в хорошем настроении: в мешке моём лежали кварц, пирит, турмалин и письменный теллур. Возможно, месторождение, которое я нашёл, было не самое богатое, но стараться там можно, это я чувствовал. Мне не терпелось вернуться домой и похвастаться.

Сначала я не сильно беспокоился. Подумаешь, беспечно рассуждал я, это же Гуанахуато, здесь полно людей и машин, и жизнь не останавливается даже днём. Жизнь бок о бок с людьми отучила нас, гномов, постоянно держать ухо востро, мы забыли, что мы Народ Ночи. Так что я рискнул двинуть домой при солнечном свете. И едва не поплатился за своё легкомыслие жизнью.

Я срезал путь через заросли огромных, в человеческий рост, опунций. Окажись я в таком или в похожем кактусовом лесу безлунной ночью, наверняка бы навдумывал себе всякого: мол, давным-давно, ещё в доколумбовы времена, здесь могли проживать мои предки, или их ближайшие родичи. Однако в тот момент я на такие возвышенные темы не думал, меня уже начинала мучить жажда, и я остановился у ближайшего кактуса, чтобы сорвать один из фиолетово-красных плодов, рвущихся из мясистых зелёных листьев, словно прыщи. На гномьем наречии они зовутся ночтли.

Людям эти ягоды размером с картофелину голыми руками срывать не рекомендуется: колючки проникают под кожу и неприятно зудят, а вот гномам с их дублёной мозолистой шкурой никакие колючки не страшны. Я схватил первый попавшийся плод и что есть сил крутанул против часовой стрелки — так они легче всего отделяются от листа. Но не тут-то было. Плод не оторвался, а опунция внезапно взвыла страшным голосом, выросла в два раза больше, чем была, и я понял, что едва не оторвал бородавку от задницы кактусового тролля.

В отличие от обычного тролля, который боится солнца и каменеет от его лучей, кактусовый тролль активен только днём. Весь зелёный, мясистый и в колючках, он слоняется по пустыне вдали от оживлённых трасс, но с голодухи может подобраться и к человеческому жилью. В лунную ночь или пасмурным днём кактусовый тролль медлителен и охотится только из засады, а в новолуние и вовсе превращается в термитник, но, стоит первым лучам солнца коснуться окаменелой шкуры, кактусовый тролль оживает и вновь становится быстрым и смертоносным.

По счастью, эти сильные и злобные твари подслеповаты, не слишком умны и крайне редко оставляют потомство. Жрут они всё, что дышит, причём полностью — с костями, потрохами, штанами, ботинками и инструментом. Если что в тролля попадёт, то не выйдет из него, они даже не гадят никогда. Но даже у таких неразборчивых в еде троглодитов есть излюбленные блюда. Это мы, кактусовые гномы.

Зная повадки наших врагов, мы превосходно маскируемся и испокон веков предпочитаем работать ночью. Можно, конечно, построить пару-тройку нефтеперерабатывающих заводов и отпугивать чудовищ бензиновым выхлопом, но гномы, как и тролли, тоже не любят углеводороды. Потому большинство из нас продолжает по старинке добывать драгоценные металлы и самоцветы.

До сих пор я о троллях только слышал и видел лишь на картинках, довольно приблизительных, стоит признать. Так уж случилось, что никто так и не умудрился сфотографировать чудовище, а все картинки рисовались людьми на основе сбивчивых рассказов выживших гномов. Людям, конечно, смешно, что весь наш народ свято чтит табу на рисование всего плохого, но что поделаешь, если легенда гласит, будто тролль появился из кактуса не сам по себе, а потому что гном-художник, пережив забродивших ночтли, пририсовал кактусу глаза и огромную зубастую пасть, а изображение возьми да оживи. Мы не рисуем также гремучих гремлинов, огненных змеев и гарпий, хотя последние — это выдумки Старого Света, и никто из кактусовых гномов в них толком не верит.

Я тоже не особенно хотел разглядывать тролля. Бросив мешок с образцами и инструмент, я метнулся в ближайшие заросли кактусов, всей душой надеясь, что это не напарник моего случайного знакомого. Говорили, будто тролли ходят парами и будто это не просто товарищи по охоте, а муж да жена. По счастью, я угодил точнёхонько в центр молодой, едва начавшей плодоносить опунции, где мгновенно притворился одним из её листов.

Способность перевоплощаться развилась у гномов давно. Не хочешь быть съеденным — притворись. И хотя нападений троллей не было уже давным-давно, способность перевоплощаться стала такой же культурной традицией, как и запрет рисовать чудовищ. Игра в прятки — это традиционно гномья игра.

Итак, у меня появилось некоторое время успокоиться, придумать, что делать дальше и как следует разглядеть тролля. Он тоже пришёл в себя и теперь тщательно обнюхивал тропинку вокруг себя. В общем, описать

его действительно довольно сложно. Представьте высоченную старую опунцию, которая умеет ходить. Скопление листьев вверх — это голова. Зубастая пасть в середине морды раскрывается, словно цветок, но это такой цветок, что туда человеческая голова влезет полностью, а уж гном и подавно. Глаза тоже похожи на плоды опунции, а вот носа как такового у тролля не было: он и слушал, и принохивался ушами. Туловище желтоватое, в складках и заметно ссохшееся, и лапы не растопырены, как принято думать среди гномов, а просто висят, как плети, вдоль тела. Я сразу понял, что тварь давно голодает, потому и забрела так близко к прииску, где велика возможность наткнуться не только на гномов, но и на людей (федеральная трасса всего в миле к северу). Я почти начал жалеть его, как вдруг он заговорил.

— Гном, где ты? Я чувствую, как вкусно пахнут твои подмышки. Отзовись, гном, я тебе скажу, где лежит золото.

Этот голос, высокий, скрипучий, одновременно похожий на визг тормозной колодки по колесу вагонетки и затачиваемой напильником лопаты, я не забуду до конца своих дней. Но больше всего меня в тот момент поразило, что чудовище обратилось ко мне на эза'р, родном языке гномов уза. Признаться, я и сам не очень-то говорил на родном диалекте, больше на испанском и английском, но понял абсолютно всё.

— Что за... — вырвалось из меня, и тролль сразу обернулся на звук моего голоса.

— Маленький гном, я тебя слышу. Пойдём со мной, я покажу тебе золото.

Проклиная свою болтливость, я аккуратно отлип от кактуса и медленно переполз на соседнее растение. В прятках мне до сих пор нет равных, а тогда я и вовсе был чемпионом Мексики, и потому тролль не заметил моего манёвра. Однако он опасно приблизился, и мне пришлось ползти дальше, почти не дыша. Остановился я только тогда, когда оказался за спиной тролля. А тот уже тщательно обнюхивал опунцию, где я только что прятался, и громко шептал:

— Ну где же ты, трусишка. Там много золота, я не вру.

Тролли, как и гномы, врать не умеют. Но всей правды без желаний и без причины тоже не выкладывают. Тролль мог иметь в виду всего лишь обручальное кольцо, оставшееся от съеденного им сто лет назад крестьянина. Чтобы узнать, о каком золоте тролль говорил, нужно было задавать правильные вопросы. А к чему приводят разговоры с троллем, я только что увидел: для голодного и ослабшего он оказался слишком быстрым, и нюх у него с голодухи только обострился. Поэтому я решил отползти как можно дальше, и только когда перестал различать чудовище, громко сказал:

— Я на прииске живу, меня побрякушками не удивишь! — и тут же отбежал подальше.

Не успел я слиться со стволом дерева джошуа, как тролль, проломившись сквозь заросли опунции, как кирка сквозь песок, начал обнюхивать то место, где я только что стоял.

— Маленький хитрец, — бормотал он, шаря вокруг загребушими лапами. — Я знаю, чего ты хочешь. Ты думаешь, я разболтаю тебе, где именно лежит золото. Что ж, я расскажу. Но за это хочу узнать, каков ты на вкус, маленький мошенник!

С этими словами он прыгнул и приземлился прямо возле меня. Я мог вытянуть руку и коснуться его ноги, если бы в тот миг вообще сумел пошевелиться. И тролль бы точно меня сожрал, если бы не гремучая змея. Она издали услышала топот чудовища и уползла, от греха подальше, в свою нору под деревом, на котором я спрятался. Когда тролль приземлился рядом с норой, змея с перепугу подумала, что охотятся на неё, и нанесла предупреждающий удар. Яд гремучих змей опасен для человека, смертелен для гнома, а для тролля всего лишь болезнен, но тех мгновений, что взбешённое укусом чудовище пожирало змею, мне хватило, чтобы убежать на приличное — по гномьим меркам — расстояние. Скрывшись в кактусах, я прислушался. Тролль всё ещё бушевал, кляня змею (и меня до кучи). Я слышал, как он крушил дерево джошуа, на котором я прятался, но оборачиваться не хотелось, нужно было убежать как можно дальше.

Подальше не получилось: я быстро устал и остановился, чтобы восстановить дыхание. Так, подумал я, солнце ещё даже в зенит не поднялось, а я уже дважды чудом остался жив. В третий раз может не повезти, так что выяснять, где лежит золото тролля, вряд ли имеет смысл. В конце концов, я уже нашёл месторождение. Жаль, что образцы остались в мешке. Конечно, можно было за ним вернуться, но убежать от тролля с мешком камней за плечом, даже если камни драгоценные, не будет ни один гном.

Но даже налегке я стану для тролля лёгкой добычей, едва выйду на открытое место. Конечно, на открытом месте уже начинается людское жильё, но это значит, что я подвергну смертельной опасности не только себя, но и людей. Остановить кактусового тролля очень тяжело: пуля его не берёт, яд не убивает, боль только злит, а злость придаёт силы. Такой даже если не сожрёт, то легко убьёт или покалечит. Мне оставалось только найти укрытие в кактусовых зарослях и молча ждать темноты.

Найти укрытие для гнома нетрудно, ему любой кустик укрытие. Сложнее с запахом. Я уже убедился, что у тролля фантастическое обоняние, и он будет преследовать меня, пока не найдёт. Нужно было во что бы то ни стало сбить его со следа.

Будь у меня с собой канистра бензина, нюх троллю можно было бы отбить надолго, но канистры у меня не было. Я решил: если вернусь, обязательно скажу, чтобы гномы никогда не отправлялись в разведку без бутылки горючего. И на всех гномьих маршрутах нужно оставлять схрон с запасом бензина...

— Гном. Гно-ом! — услышал я голос тролля вдалеке. — Не прячься, маленький мошенник, я всё равно тебя найду.

Я снова прикинулся листом опунции. Нос мой упёрся в спелый ночтли, и я понял, что так и не успел съесть ни одного плода. Может, пока тролль далеко, наскоро перекусить?

Плод оказался слегка перезревшим и брызнул соком во все стороны, обдав заодно и меня. По этому запаху тролль поймаёт меня в два счёта. Если только...

Я метнул ночтли в ту сторону, откуда в последний раз доносился голос тролля.

— Попался! — рявкнул он, но тут же ликование сменилось разочарованным воем — видимо, он схватил мой снаряд.

Не давая врагу опомниться, я швырял ночтли куда придётся. Воздух быстро наполнился одуряюще сладким ароматом плодов. Тролль отчаянно завыл: он понял, что я перебиваю свой запах.

— Я буду есть тебя по кусочкам. По очень маленьким кусочкам, слышишь, маленький негодяй?

Я же, окрылённый успехом, радостно извалявшись в кактусовых ягодах, решил вернуться за брошенными образцами. Убедить гномов в том, что найдено новое месторождение, можно лишь при наличии убедительных доказательств. У нас есть тысяча и одна причина не начинать копать в новом месте, пока не истощится старое. Будьте уверены, после гнома ничего в земле не остаётся, там даже не растёт ничего. Почти все пустыни мира — это следы пребывания гномов. Но если месторождение найдено и подарено — его обязаны начать разрабатывать. Большинство горных заводов — результат марьяжа, ветвь фамильного древа. Я же собирался основать новую династию. Если, конечно, выживу.

Не подумайте, что я не запомнил, где добыл образцы. Я вернулся бы туда и с закрытыми глазами. Но кроме меня на благосклонность моей избранницы претендовали ещё десять женихов, один другого выгодней, и все из хороших семей, и всем было что предложить. Уже сегодня ей могли сделать предложение, а следующий мой выходной только через неделю. Именно поэтому я решил рискнуть и вернуться за мешком.

На том месте, где я его бросил, мешка не оказалось. Пропали и образцы, и теодолит, и шанец. Не веря глазам, я ползал по земле, пытаюсь отыскать хоть один камушек. Как вы, наверное, догадываетесь, тщетно. Тролль их забрал. Очевидно, вещи мои понадобились ему в качестве приправы ко мне же. Я настолько отчаялся, что готов был выкрикнуть самые отчаянные проклятия, и вновь себя

обнаружить, как вдруг за спиной раздался всё тот же скрипучий голос.

— Ты это потерял?

Я медленно обернулся. Тролль стоял совсем рядом. В левой лапе он сжимал мешок, в правой — шанец. Теодолит, похоже, был потерян. Босс мне за это зарплаты точно не накинёт, почему-то подумал я.

Тролль же понюхал мой мешок и по телу его пробежала дрожь. Я видел, как напряглись мускулы под его дряблой кожей, мысленно попрощался с невестой. Взгляд невольно поднялся к небу. И в тот же миг рот мой будто сам по себе открылся и выкрикнул:

— Стой!

Тролль невольно переступил с ноги на ногу.

— Ты обещал сказать, где золото! — потребовал я.

Враг угрюмо пошевелил лепестками губ и сказал:

— Оно у тебя в мешке.

— Врёшь!

— Да как ты смеешь, еда! Этой ночью ты копал в десяти шагах от меня, я иду по твоему следу с самого восхода солнца! Думаешь, я случайно жду тебя здесь, на пути к старой штольне?

Штольня! Как я мог забыть про заброшенную штольню, бывшее логово гномов-подростков! Я там, конечно, ни разу не был, чичимека ушли отсюда примерно за полвека до моего рождения, но ведь знал же!

— Вы что, на месторождениях живёте? — спросил я.

— Мы там охотимся, — нехотя ответил тролль. — Зачем тебе знать это? Я тебя сейчас съем.

— Подавишься, — грубо ответил я и дал стрекача.

В другое время манёвр мой потерпел бы фиаско, но перед тем, как крикнуть «стой», я увидел, что на солнце надвигается огромное чёрное пятно. Мы, гномы, живём под землёй и мало знаем о небесных явлениях, но даже я знал о том, что такое солнечное затмение. Пока мы говорили, луна всё больше заслоняла солнечный диск, и, когда я бросился бежать, долину накрыла тень.

Уже не помню, как бежал я под вспыхнувшими внезапно надо мной звёздами: мир вокруг смазался, и единственное, что видел я впереди, — отсвет гномьего фонаря над входом в штольню. Фонари эти горят даже на заброшенных шахтах, чтобы Народ Ночи помнил, где их дом. На моё счастье, до дома было рукой подать.

Звёзды быстро гасли, небо светлело, и вскоре за спиной я услышал топот исполинских ног: тролль, ненадолго обездвиженный отсутствием ультрафиолета, отмер и теперь стремительно меня нагонял. Увидев вход под землю, я ещё издали проорал пароль на языке эза'р и буквально нырнул в едва приоткрывшуюся автоматическую дверь. Створ за моей спиной закрыться не успел: тролль, засунув в щель лапы, одним движением вырвал дверь из паза. Но шлюз как раз для таких случаев был сделан глубоким, и солнечный свет не проникал в него больше, чем на длину лапы тролля.

— Еда! Вернись! Вернись, хуже будет.

— Размечтался, — ответил я.

Тролль всунул морду внутрь.

— Сделка есть сделка! — прорычал он.

— Какая сделка?

— Я сказал, что расскажу о золоте, прежде чем попробую тебя на вкус. Ты потребовал рассказать и получил ответ. Твоя очередь исполнить договор!

Возможно, человеку это и покажется странным, но слова тролля не противоречили истине. Я потребовал исполнить обещание — он его исполнил. Если он меня не съест, будет считаться, что он сказал неправду. Ложь и неисполнение договора накладывает проклятие на солгавшего и обманутого.

— Я исполню договор, — сказал я. — Только отдай лопату.

Морда тролля убралась, и тотчас к моим ногам упала лопата, выдавший виды приисковый железный заступ, с крепким древком и изрядно сточенным штыком. Инструмент, которым я собирался исполнить договор.

Прежде чем сделать это, я стянул с себя рубаху и разорвал её на ленты. Потом выдернул из штанов ремень, перетянул левую ногу ниже колена, а конец его зажал во рту.

Взял лопату и несколько раз плавно поднял и опустил её, прицеливаясь.

— Что ты там делаешь? — тролль вновь сунул морду в штольню.

Именно в этот момент я рубанул по ступне.

Описывать ту боль, что я испытал, бессмысленно. Вы не хотите — да и не должны — этого испытывать, вот и всё. После удара я тут же упал и заорал, прижимая к себе покалеченную ногу. Тролль, похабно ухмыляясь, смотрел, как я истекаю кровью.

— Пшёл вон, тварь, — проорал я, изнемогая.

— Договор, — напомнил он.

Я схватил обрубок ступни и швырнул ему в морду. Тролль не стал уворачиваться. Просто вся его башка будто вывернулась наизнанку — так широко распахнулись лепестки его пасти — и он на лету поймал часть моей ноги и с глубоким хлюпом проглотил её.

Меня не вырвало. Напротив, я даже очнулся, взял себя в руки и, громко ругаясь на испанском и английском, начал бинтовать рану.

— Чего ты ждёшь? — спросил я тролля, когда кровь, наконец, остановилась.

— Договор!

— Я всё исполнил, кретин тупоголовый! Речь шла о том, чтобы попробовать меня на вкус. Ты попробовал. Понравилось?

— Э... — тролль на мгновение закатил глаза, обдумывая мой ответ, а когда до него дошло, что попробовать на вкус вовсе не значит сожрать полностью, тоже выругался.

— Всё, столовая закрыта, можешь проваливать, — сказал я.

— Я могу тебя достать, — сказал он.

— Добро пожаловать. Я с удовольствием раскрошу тебя на мелкие кусочки и добавлю в бетонный раствор. Вечером меня хватятя и организуют поиски, а когда найдут ещё и тебя — в лучшем случае посадят в клетку и будут показывать в музее антропологии. Я не тороплюсь: где лежит золото, я теперь знаю, нога у меня новая через год вырастет, так что я в любом случае выиграл.

— Ты невкусный, — ответил тролль обиженно.

— Выплюнь тогда, — пожал я плечами.

Тролль помотал головой. Снаружи донёся какой-то шорох, и морда его снова исчезла. Я же отполз к дальней стенке шлюза, на всякий случай слился с ней и закрыл глаза.

В забытьи, судя по свету от входа, я провалялся почти три часа. Нога тупо ныла, бинты изрядно намокли. Снаружи слышался громкий храп тролля, к которому примешивался странный стрекочущий звук. Неужели вертолёт?

Искать меня, конечно, будут. Кредит на образование руководству компании я буду ещё лет десять, если не женюсь. Терять специалиста им невыгодно. Но я не думал, что спасательная операция начнётся раньше, чем стемнеет. Превозмогая страх и боль, я пополз глянуть, что такое там стрекочет.

Чем ближе я приближался к источнику звука, тем больше понимал, что это не вертолёт. Стрёкот был неравномерный, неритмичный, будто трещотка на реечном домкрате — то долго крутят, то по одному зубчику, то по два.

Я выглянул наружу. Тролль разлёгся на солнцепёке и дрых. Рядом с ним валялся мой мешок, чуть в стороне я увидел и кирку. А потом заметил источник стрёкота, и в этот момент мне впервые за этот бесконечный день стало как-то не по себе. Детёныш тролля вертел в крошечных лапках мой теодолит и слюнявил его своими маленькими губами-лепесточками, которые и издавали стрёкот.

Маленький тролль был пока без ног. Он вырастал из живота своего родителя, из этих противных желтоватых складок, и был так же уродлив, но отвращения почему-то не вызывал. Скорей, любопытство. Впрочем, рисковать, наблюдая за игрой маленького чудовища, мне не хотелось, и я отполз обратно в глубь штольни, где вновь лёг у дальней стенки. И уже приготовился снова заснуть, как вдруг послышался тонкий продолжительный скрип.

Храп тотчас прекратился. Через несколько секунд тролль снова заглянул в штольню.

— Гном, ты живой?

— Ха-ха, — ответил я.

— Гном, мне нужно тебя съесть.

— А где «пожалуйста»?

— Пожалуйста.

– Спасибо, я не заинтересован.

– Гно-ом, тварь ты такая! Мне нужно есть! у меня... у меня будет дитё!

Тут снова раздался тонкий скрип.

– Он так плачет? – спросил я, когда скрип прекратился.

– Просит есть.

Я немного помолчал, потом сказал:

– У тебя симпатичный малыш.

– Дитё не родится, если я не буду есть, – сказал тролль. – Оно сожрёт меня, не сможет никуда уйти, будет орать, люди и гномы придут на звук, дождутся новолуния и расколотят его на щепень.

– Да хоть все вы передохнете, мне-то что за беда?

– Все уже и передохли, – ответил тролль. – Кого-то вы, кого-то люди в пыль размололи, но большая часть – с голоду. Мы последние. Чтобы дитё родилось, мне нужно съесть гнома.

– Значит, тебе нужно сожрать гнома, чтобы вы выжили и могли дальше жрать гномов?

– Вы же убивали троллей, чтобы мы не мешали вам добывать золото.

– А зачем вы мешаете?

– Потому что после ваших приисков нам негде жить и нечего есть. Мы усваиваем только живое мясо, а после вас никакой живности не остаётся.

– Вы же падаль жрёте.

– А что нам ещё жрать?

Если бы я не получил высшее образование, то лишь рассмеялся бы в морду чудовищу в ответ на все его обвинения. Но в академии я посещал курс истории. Ровно те же претензии гномы предъявляли людям перед заключением мирного договора.

– Почему вы ничего не сказали? – спросил я.

– А вы разве слушали?

Я мог бы плюнуть в эту уродливую морду. Будьте уверены – я бы так и сделал, если бы не видел троллье дитё.

– Предлагаю заключить новый договор, – сказал я.

Это походило на изошрённое циничное самоубийство. В моём мобильнике закончился заряд, да и связи не было никакой. О том, чтобы тролль донёс меня до прииска, и речи быть не могло: его бы расстреляли из танка. Я мог вызвать спасателей лишь одним способом. У входа в штольню валялись старые покрышки – видимо, ими подростки блокировали автоматическую дверь. Эти покрышки мы, с грехом пополам, и подожгли. Когда в небо взвился жирный чёрный столб дыма, который наверняка должны были увидеть спасательные службы с прииска, тролль и его дитё откусили у меня обе ноги.

Вы видите, что я выжил – спасатели подоспели вовремя. Новая золотая жила, которую я подарил своей невесте, до сих пор даёт прибыль. С тех пор я открыл два платиновых месторождения и три бассейна с редкоземельными металлами и основал самый крупный металлургический концерн в мире. Но каждый год в это время я приезжаю к старой штольне, чтобы тролль, и его подросшее дитё, а потом и его собственное дитё, и дитё его дитя, могли откусить у меня по ноге, потому что троллям, чтобы родиться, нужно живое мясо гнома. В свою очередь, ни один из троллей не может причинять вред ни гномам, ни людям.

Я не вправе требовать, чтобы вы, дети, и внуки, и правнуки мои, поступали так же. Но гордость всей моей жизни – это договор с троллем.

Елена Сиренева

Ну скажешь тоже



на старт
внимание
март

пока я спала
ты ковырялся карандашом
в белых зубах бумаги

аквариум это когда
рыбёшки в башке
начинают драить
твои давно
немытые иллюминаторы
заговаривая
мыслям звуки

а ты красивый
можешь даже не отпираться
я сама тебя отопру

детям надоедает
сидеть в темноте
никто не ищет
вылезают сами
рождаются на свет

интересно как выглядит
старая шутка
она с юморщинками

какая глубокая мысль
может пора вас спасать
пока в ней не утонули

когда предложения
начинаю писать
слова ставят подножки
хочется с каждым
поиграть да ещё
точками как мячиками
кидаются но я же
не могу с каждым

красное ухо солнца
каждый день утро тянет
из-за парты горизонта

кто тебя ещё
так поцелует в нос
снежинка только
чмок и след
простыл

мы разделяем
ваши мечты
и свои

на подножку строфы
образ вскочил
приветим хоть и заяц

на сонном масле
с боку на бок за ночь
как блинчик переворачиваюсь

обмакнув глаза в ночь
ищем у августа за пазухой
шорохи звёзд опрокинутые
ежи дожёвывают свои тени

открытый перелом тишины
буквы сочатся
как трамваи цепко

отсебятина
отменятина
оттебятина
рожаем стихи

поезда мчатся от станций
вырывающих пассажиров как зубы
больно надо

по железной дороге твоих ресниц
пусть прокатится счастье
фантики вместо билетов

поз травляю
в тень краж день я
все го хо рожего

пока мы гуляем
стихи срываются
с поводков и вдаль
сколько их бездомных
бродит по городу
того гляди
затащат шариковы
к себе в союз писателей

по лучам текло
а в меня не попало
солнце тот клоп
что схватит среди бала

посыпаешь как дворник кофейным песком
сердца зимнего бездорожье
всё равно поскользнусь на осколке босом
герды каются так похоже

по шпаликам идёт
глаза наоборот
с подводной лодкой в шубе
прохоже что не шутит
глоток мяча по мачте
стихами намаячил
рождение как дождь
легчайшая одежда
ну скажешь тоже

правлю свой текст
правлю им пока
меня не свергли читатели

пуху тополиному
одуванчики завидуют
головой качают только
в этом поэтическом
слэме им
проиграть
а может они рэперы

рождённый прозать
лети подальше

самолёт кормит небо
прямолинейным мороженым
своих следов

саповедные места
там где сплю спокойно
бес мятеж на

склероз у чудного мгновенья
да опадает бакенбарда
златая рыбка вплавь по венам
где пушкин раскатились ядра

слова апельсины яблоки
в сетке несутся
поэт червячком выглядывает

снеговик наоборот холодильник
у него морковка внутри
вот и злится вот и трясётся

собаки всегда соавторы
когда собираются
говорят только ав ав

сморщенные коготки памяти
в перчатках тумана сегодня
скребуются мгновенными венами

солнце натянуло
чёрные перчатки туч
взлом неба
протёк успешно

ступени отпросились из-под ног
запахло пуговицей лишней
слинявши друг на друга как бы в долг
я зебра ну а ты гаишник

стыдливость перебегает
лицо девушки
на красный свет

сугроб читаю по слогам
вороны почеркушки
я маленькая в небе яма
не грусть грызу а грушу

у меня на языке
мысли как на качелях
спрыгивать не хочется
вот и молчу

у стихов тоже бывают
нервные окончания
а людям больно

филолог
это лог где сидят
шибко грамотные

цветнявый кривокось
вырайливает дризок
мярфор не колобрыско
в голосочку ахёзи

целый день
тебя обнимала
брюнетка-водолазка
а теперь нырнула
куда-то и правильно
мы этим русалкам
хвосты-то пооткусываем

школьники вынуждены
быть меломанами
у доски на уроке

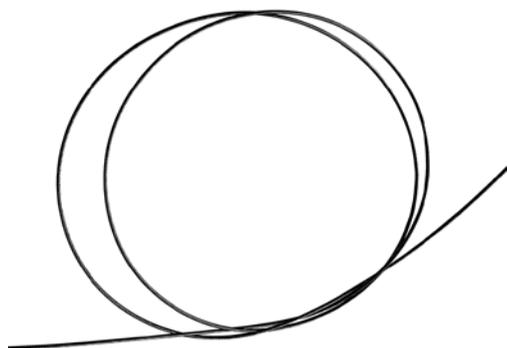
я под впечатлением
оно достаточно большое
чтоб под него залезть

вы тут
не заглядывайте под юбку
моим мыслям

Виталий Аширов

Черный коралл

трактат о нечеловеческом



горизонталь

Странную моду на нечеловеческое пока не клянут и не ругают, потому что не прошел инкубационный период, после которого можно клясть и ругать. Мы, если нам позволено называть себя собирательным именем, в принципе ничего конкретного не означающим, хорошо помним времена, когда проносились буйным вихрем и другие моды — на постмодернизм, на шизофрению. Сталкиваясь, но и держа смутно распознаваемую дистанцию, эти сумрачные моды пролетели, как сказано, безудержным ураганом и растворились в теплом мартовском воздухе, безмерных умах, в громком уличном

говоре (ты не замечаешь меня, но я наблюдаю за тобой, Марта) и более не будоражили и не тревожили широкую общественность, хотя иногда отдельные социальные элементы, заблудшие на дорогах жизни, вспоминают и шизофрению, и постмодернизм, но ничего не могут сказать об этом полезного, умного, впечатляющего, конкретного, правильного, только стоят, открыв пустые рты, и смотрят в пустые небеса, будто ждут поддержку от несуществующего существа, текста, структуры и, не дождавшись, захлопывают рты и смущенно опускают очи долу, ибо не оправдали надежд спрашивающего, поэтому — коль интеллектуалы молчат — то и дело раздаются опять-таки иные голоса, уже менее образо-

ванных слоев общества, но все равно рвущихся высказать истину, писателей, и поэтов, и художников от слова март, и менее веселых деятелей искусства, и тогда происходит совершенно невообразимое и невозможное переоткрытие старых истин, которые наследовали на кафельном полу морга, и по следам мы приходим к препарированным идеям с ушитыми ушами и бесполезными впалыми глазницами, откуда не сияют солнце и красота, откуда течет сукровица темноты, и мы отплеываемся и, отплеываясь, глядим в туманные дали, где в золотистой дымке рассвета движется по водной глади белоснежный теплоход, и ты уплываешь на нем, укоряя меня за то, что слово выбрано плохо, неправильно, теплоход не белоснежный, а просто белый, потому что март, март, ни снежинки, небо давит неукротимой красотой на горизонталь горизонта, и в пустоте очередного бессмысленного утра я понимаю вдруг, что не зря — как бы хотелось представить иным борзописцам — идеи нечеловеческого всплывают в воображениях, ибо нет у нас иначе никаких внятных и тем более последовательных идей, способных обескуражить после выстреливших как из пушки постмодерна и шизофрении (и говорят, однако, о путанице — как верно произнести: постмодерн или постмодернизм? постулируемые академиками различия между данными терминами малосущественны и являются абберрацией, словотворчеством, занудством, хотя и безусловно работают в пространствах академических дисциплин), и ты магически сливаешься с толпой, и мне остается развести руками, облокотиться на прилавок возле торговли, закутанной в тысячу одежек, как стыдливая капуста, и считать — ворон, мелочь в кармане, считать тебя пройденным этапом, но — какая смешная мелочь и совсем не звенит! — в результате моего феноменологического эпохе нередуцируемым фантомом на границе сознания остаешься ты, и я совершенно ничего не могу понять, осознать, вычленить, на меня с невыносимых небес сплошным потоком льется ничто, ничто с маленькой буквы, я подплясываю, протягиваю руки, растопырив пальцы, открываю рот, но — мимо, мимо! Нар-

ратив, как живое существо, диктует свои правила и законы, и все-таки я должен говорить о человеке, потому что проблематика нечеловеческого является, возможно, ключевой реперной точкой этого скромного, чванливого, инфантильного нарратива, призванного продемонстрировать и объяснить, а там, где человек, там всегда и нечеловеческое, да простят меня боги стилистики за сплошные повторения, за то, что, начиная тему, моментально сворачиваю в сторону, но иначе нельзя, боюсь говорить напрямую, выражаться открыто, откровенно, эзопов язык, птичий грай — вот что должен использовать исследователь, однажды отважившийся распахнуть рот посреди колхозного рынка, не иностранные языки ты должен изучать, о несчастнейший, а соловьиные трели, писк трясогузки, свист воробьев и как запищать, когда горло приспособлено исключительно для кашля и хрипа, и сглатывания слюны, я смотрю в глаза тучной торговли, и она смотрит на меня с выражением явного неодобрения, что думает она в этот момент, как текут ее мысли, если вообще текут, может быть, плывут, или летят, или уже одновременно присутствуют в полном объеме, и она лишь фланирует по пустынным коридорам несуществующей библиотеки, планирует добраться до высоких стеллажей, именно для этого у дамы припасена стремянка, но вместо того, чтобы снимать и спешить, библиотекарь битый час читает наугад выбранный том о том, как Том томился в пылу страсти, и не замечает направленных на нее злобных взглядов согладатаев; два молодца средних лет, бедно одетые, на цыпочках фланируют и планируют совершить нечто не совсем укладывающееся в конвенциональные рамки, возможно, выкрасть даму, закутав предварительно в ковер, и на автомобиле зеленого цвета вывезти в неизвестном направлении, чтобы требовать выкуп или просто глумиться и развлекаться над/с жалкой жертвой, они пристально следят сквозь пробелы в книжных полках, смотровые щели, свободные покамест от пыльного груза, собравшего внутри себя огромные знания об устройстве вселенной или незатейливые истории о похотливых солдафонах, но, с точки зрения бумаги,

все это пыль, пыль, и я уверен, что, если она промедлит еще несколько мгновений, накинута, и произойдут неприятные события, о которых я бы не хотел узнавать из газетных столбцов, и может быть, каким-то неприятным образом распознав мои мысли, они изменили направления взглядов и уставились на меня, очевидно, предполагая, что ничего не замечаю, будучи погруженным в размышления о posthumanity; действительно, я имел вид человека, ушедшего с головой в кротовую нору, черную дыру, влипшего в айсберг воспоминаний — о чем бишь я? — марта, март... ранняя весна, тают вымышленные айсберги, и звенят ручьи, и с веселым смехом детвора... нет, нет, детвора меня пугает своим жутким смехом, я не могу слышать, зажимаю уши, а они все равно смеются, и ручьи ползут, как черви, оплетая иссиня-черный труп дороги, в конце которого, там, где чугунный забор, стоят двое моих преследователей и уже не скрывают недружественных намерений, они решительны, смуглы, спокойны и вот-вот двинутся за мной, нужно улепетывать, но позволь, я еще постою, облокотившись, и помечтаю, ведь на рынке я в полной безопасности, вьюноши ни за что не бросятся на меня в любом месте, максимум на что способны — стоять в отдалении и наблюдать за реальностью, пока библиотекарь счастлива уже тем, что нашла нужную книгу — о чем книга? — интересуюсь я; дама, подобрав юбки, спускается с высоты и, не удостоив меня толикой внимания, словно я призрак или не существую, что, в принципе, то же самое, важно или вальяжно, что в принципе то же самое, шествует в маленькую комнату, где два маленьких мальчика в матросских костюмах пытаются исчезнуть — пучат глаза, кривят губы, тужатся — но исчезнуть оказывается труднее, чем появиться на свет; печальная дама усаживает на колени одного, второй, постарше, устраивается рядом, и негромкий голос погружает детей в пространство вязкого, серого, необязательного текста о колхозном рынке, толчее и соглядатаях; это сказка, мама? Нет, это сказка. Сложно понять материнские побуждения, инстинкты, инсайты, вот она, мать, в белой ночнушке крадется, как мышь, по длинному

коридору особняка, со страхом вглядывается в сумрак и что-то пытается разглядеть, но все, что она пытается разглядеть, скрыто столь хитроумными тенями, что ей остается довольствоваться расплывчатыми силуэтами и странными звуками; и страшными намеками в воображении всплывают еще вчера казавшиеся обыденными мгновения, ноты, фразы, ситуации; она как будто даже видит меня, хотя с чего бы, я надежно заслонен собственным локтем от подобного рода соглядатайства; женщина подслеповато щурится и тянет руку со свечой, пламя дрожит, колеблется и дымится во мраке; и мы прячемся, нам некуда отступить, однако она, кажется, потеряла след — нюхнувшая чесноку ищейка, и я говорю, бери книги, будем строить крепость, и брат с готовностью соглашается, ведь строить крепость — великолепно; не смотря на то, что в доме стоит вечное лето, и пауки облюбовали гардину, и вялые мухи ползут по столешнице, крепость мы строим книжно-снежную, способную выдержать прямое попадание артиллерийского снаряда, попробуй нас оттуда выковырни, о, архитектор человеческих душ; к слову о душах, думаю, она видит не только меня, но и тайных шпионов, которые скрытно наблюдают, как им кажется, за моим безвольным существованием, а по сути, это мы с ней наблюдаем за ними, замечаем малейшие изменения в положениях тел, и облачка пара поднимаются из носов и глоток, знаменуя — а что же они знаменуют? — да, поздний март, таяния и вместе с тем призрачность, зачарованность пробуждением или воскрешением природы, впрочем, она больше похожа на осторожного зомби, поэтому ее состояние вряд ли назовешь жизнью — как и мое, мой друг, как и мое — я стою, облокотившись, и делаю вид, что отрешенно размышляю о сугубо практических делах, если о них можно отрешенно размышлять, прикидываю, к примеру, сколько денег у меня осталось и хватит ли на покупку теплых носков для детей — не все им босиком носиться по холодному полу, морозить пятки, простужаться и, забурившись в библиотеку, читать приключенческие романы о смелых мореплавателях и спелых

кокосах, висящих на пальмах в жаркой стране, которая кишит головорезами; увы, все удивительное рано или поздно заканчивается, и вот-вот прозвучит сигнал милицейской машины, но не звучит — жалеет меня дежурный или забыл нажать на кнопку — значения не имеет, я больше не могу удерживать вид покупателя степенного, того и гляди сорвусь, яростно брошусь на торговку, воткну зубы в ее дряблую щеку, взвою, забьюсь в бессмысленной истерике — вот вам, подлецы и дегенераты! — она мельком ловит мой взгляд и отвечает вопросительным, хмурю брови и кусаю — все-таки кусаю — свои губы, и, издав неуверенный и оттого жалкий смешок, отхожу, дабы смешаться с толпой; люди бесконечно движутся, будто элементы чудесного механизма, приводящего в движение сказку; если смотреть только на ноги, можно заметить, что господа шагают невпопад, вразброд, развязно, и никто не способен на грациозные шаги — кто пустил сюда людей? Кто заполнил торговые площади шумным народом? — отоприте клетки, и выпорхнут белоснежные аисты с длинными клювами и тонкими лапами (узловатые колени, как твои, худая, голодная Марта) и вытеснят толпу двуногих, и тогда серость и неловкость будут посрамлены, уступят место красоте; и скорости, с которыми барабанят в стекло боевые (дождевые) капли, соперничают со скоростями биения наших сердец; и вот наконец снова замечаю их, — казалось бы, на короткое мгновение они умудрились скрыться в длинных рядах, за шапками и шарфами, за цветными юбками, или напялили на себя юбки, шарфы и шапки и стояли в застывших манекенных позах, чтобы никто не заподозрил и не уличил, прошел мимо и не обернулся, когда младшая, не сдержав веселого порыва, издала короткий отчетливый смешок, а старшие моментально прижали пальцы к губам, увещевая и предупреждая, — казалось бы, но нет, они тожко вжались в мясо толпы, слиплись, сделались одним целым с этим мясным механизмом, коли позволено употребить столь захватанное чужими губами обозначение, и долго морочили мне голову, пока народ не начал рассеиваться под воздействием неведомых

сил, формировавших плотность и разреженность в то пепельное, склизкое, тоскливое мартовское утро; давайте обсудим кошечек, какая вам нравится? Вон та, рыженькая? Или та — беленькая? Я предрасположен к полосатым, я всегда глажу медленно, от макушки до кончика хвоста; животное недовольно подергивается, урчит, прыгает на паркет и, угрюмо озираясь, ретируется на подоконник, где, по-видимому, уютнее, чем на подушке, ласково греет ребристая батарея, и, кроме того, в окно можно разглядеть балкон и то, что там постоянно происходит: шуры-муры, вась-вась, беспорядочные мелькания в птичьих клетках, запутанные телодвижения, когда невозможно понять, человек это (а еще стекло искажает) или преамбула к трактату о нечеловеческом: нам чрезвычайно важно с самого зачина исследования дать осознать читателю, что проблематика поднята серьезная, что автор не лыком шит и весьма поднаторел в предельных онтологических вопросах — с чего начинается Родина, сколько ангелов уместится на конце ножа, почему так нахохлились красноцветные птицы, ведь уже март наступил, снег почти растаял и возбуждённо бежит детвора по двору, взволнованно переговаривается, и я, куда могу, пытаюсь заставить его замолчать, да куда мне, брат не выдерживает неподвижной напряженной позы, меняет положение и громко шепчет о том, о сем, и она, вероятно, слышит, потому что вдруг поворачивает голову в мою сторону и пристально смотрит прямо на меня, срочно делаю вид, что звонят, подношу пластик к уху и киваю, да-да, все улажено, Виктор Викторович, да, будет исполнено, нет, мы ничего не потеряли — и все-таки что-то мы определенно потеряли на всем протяжении бесконечно длинного пути от беспозвоночных до садомазохистов, и вот бы кольчатой тварью в черный коралл юркнуть; есть надежда, что преследователи примут меня за дорожный столб, ежели я не стану шевелиться, причудливо застыну, как в детской игре про морские фигуры, тем не менее вашего покорного раба могут распознать иные обитатели рынка, не столь недружелюбно настроенные, но волна узнавания в таком слу-

чае дойдет и до тех, невыносимых, чьи намерения чудовищны, и меня загребут, загремев хулиганскими цепями, грохнув трещоткой, и мне даже как-то неловко будет прощаться с торговкой, чей внимательный взгляд не слетает с моей скромной персоны довольно давно; довольно, довольно, нечего дергать цепью — лязганье вовсе не приятно, а вечер обещает быть интересным; иногда в детстве я уходила к подруге и торчала у нее допоздна, отключив телефон, чтобы не выслушивать уговоры матери вернуться сейчас же, и мы занимались невнятной чушью — брызгались водой, красились цветными тенями или уходили бродить по рынку, где один за другим загорались неровной цепочкой тусклые фонари, и постепенно пустело, но редкие посетители еще вяло копались в товарах, и болезненные на вид голуби сидели на чугунном заборе, вот и сиди не высовывайся, лепечет старший, а она все ближе, второй, подывая от восторга, выскакивает из крепости и случайно рушит половину постройки, мне остается только виновато развести руками, женщина механически гладит по голове ребенка и неодобрительно взирает на погром в комнате; два мотылька, влетевших со стороны сада, танцуют вокруг свечи на комод, и фары столбами яркого света разрезают промозглый утренний сумрак, и тут я, словно очнувшись от глубокого забытья, обнаруживаю, что по-прежнему облокотился; наверно, все дело в локте, свободной рукой ощупываю крепкую кость, полоску мяса, визжат шины вдалеке — почему они всегда визжат? Вот бы производитель производил промышленные произведения, лишённые этого существенного изъяна, шил шины из кошачьих шкур или птичьих перьев, чтобы мягко шуршали и шелестели по шоссе, лишь бы мне не слышать неприятных шумов — шу-шу-шу раздаётся за комодом, мыши давно облюбовали там уютное местечко и настороженно высовывают кончики носов и бусинами глаз посверкивают периодически, становится неловко, локоть немного оттопыривается, приподнимается, но целиком скрыть меня не способен, они отвлеченно болтают, но уже ясно, что от намерений своих отказываться

не станут и несомненно ясно, что намерения у них злокозненные, придется следить за девочками тщательней и даже, раз иначе нельзя, выйти за пределы торговых рядов и неспешно прогуляться до любой конечной точки назначения школьниц; физрук, математичка, наши пальчики устали, а Сальников курит в туалете, эт сетера; мы забирались под черную лестницу, рвали бечевку, связывающую стопки журналов и книг, и расшвыривали макулатуру по закутку, запинывали скучное куда подальше, а любопытное, с картинками накрашенных женщин или неземных механизмов, я засовывал за пазуху и по дороге домой рассматривал, отворачиваясь от младшего, который с плаксивым выражением на хорошенькой физиономии тянулся и дергал, нет, не дам, ты еще маленький, от мамы влетит; продолжая недовольно подергивать усами, полосатая кошка приближается к стеклу, и за ним в застегнутых на все пуговицы клетках испуганно носятся, носятся испуганные, испуганно жмутся пернатые друзья человека, переносчики смертельно опасного гриппа; от количества друзей практически ничего не зависит, но само их наличие указывает на щекотливое обстоятельство, на некое деликатное положение дел в заранее данных пространственно-временных координатах, и смею предположить невероятное: друг не бросит в беде, подаст руку, предложит разделить хлеба и постель, достанет микроскоп, наберет грязной воды из ручья, и вот вы уже ответственные ученые, кропотливо изучаете кишечную палочку, которая обнаруживает признаки зловещей жизни, однако никуда не спешит, ибо куда же спешить, мыслит кишечная палочка, дни наши быстротечны и сочтены, а вселенная слишком объемна, незачем исследовать ее закоулки, причиндалы и неприличные места, радостно отмечая некротические пятна, и сквозь них, неприглядные, но по-своему прекрасные приметы давно минувшего, предметы первой необходимости, я вижу, ты видишь, она видит, он видит бесчисленное множество переотражений, архитектонику ночного кошмара, полости, в коих колебательные движения крошечных созданий застывают или становятся вялыми, но мы,

будучи сыздетства подкованными в определенном роде знаниях, с отвращением отвергаем движение как таковое, замираем и фокусируем взгляд на цветном мельтешении впереди – меньшая согнула ладони рупором и на ухо шепчет подруге, товарка, прежде снулая как глубоководная рыба, подергивается от внезапного смеха, и вся компания решительно направляется в противоположную от меня сторону, надо поспешить, перехватить школьниц возле выхода на Рабочую площадь, ибо там-то уж затеряться совсем легко, свернуть направо, спустятся в подземный переход, и поминай как звали, растворяются в людских потоках, пропадут навечно, а это будет означать только одно – слежка за мной принимает крайне агрессивную форму, и методы шпаны, более чем прозрачные изнутри методы, заключаются в том, чтобы не дать жертве почувствовать слежение, и тем хуже для меня, потому что я буду его каким-то образом ощущать, ведь невидимость не означает, что гады слились со средой, а лишь то, что отлично спрятались, из дальних щелей наблюдают карими очами зачарованных царевен, готовые по неведомому сигналу приступить к операции, возможно, со смертельным исходом, когда топаешь внезапно ногой и медленно поднимается уйма пыли, и мама (или это женщина со свечой – трудно различить издали) производит колебательные движения ладонями, вот-вот поплывет в призрачной пустоте, или чихает, и перепуганные канарейки бьют крыльями, срываются с насиженных мест и мельтешат в клетках, покамест кошке уже невыносимо, неможется, в ней просыпается дикий, в сущности, зверь, настолько же далекий от домашней кисы, насколько она далека от нас, ибо мы расположены на такой глубине, что едва различимы и едва различаем детали окружения – школьницы крадутся за мной неотступно, регистрируют, как точные механизмы, каждый мой осторожный шаг за хитрыми бестиями; сегодня должно свершиться; еще вчера я был вял как ночной мотылек, бродил по окрестностям, не давая себя заманить в ловушку, но и сам не будучи способен никого заманить, с тех пор прошло двадцать четыре часа, и вот

я собираюсь изменить провальную тактику (не принесла никакого успеха в моих начинаниях и поползновениях, зато откинула меня как будто на несколько лет назад, в еще более глубокие казематы, дыры и отверстия, чем те, где я пребываю ныне) и наброситься молниеносно, лишь бы выбрать правильный момент и правильный кусок правильно отсечь при помощи тяжелого кухонного ножа, который мог при любых иных раскладах быть боевым оружием и стяжать его владельцу не увядающую в веках славу, а слава, как известно, всегда кровавая, и ежели подсчитать, милая Марта, сколько всего лейкоцитов и эритроцитов вот в этом неопрятном пласте плоти, пронизанном венами и капиллярами, то, уверяю тебя, получится число немыслимое, вернее, его способны будут помыслить лишь гениальные дети и деревенские дурачки, режь быстрее, сука, пока теплое, пока призрачно утреет и в небесной непроглядно-серой мгле затерялось огромное солнце; женщина смотрит в окно и не видит гигантского светила, растворившегося в облачной массе, зато явственно замечает, как аккурратно, как кропотливо, какими юркими проворными пальцами сделан небесный свод, должно быть, долго разминали серое тесто в ступке, прежде чем наносить на противень; отпечатки огромных пальцев, впрочем, остались здесь и там, но, товарищ милиционер, я никому не дам себя идентифицировать столь примитивным способом, мои ладони всегда в перчатках, и если я сейчас их снял, то исключительно для того, чтобы изобразить важный телефонный разговор, – не дать угрюмой торговке заподозрить нечто неладное, ведь она может подумать: мужчина облокотился неспроста, он наблюдает за группкой школьниц (что будет, конечно, неправдой – я лишь пытаюсь раствориться, спрятаться от преследования, два – или три – хулигана намерены перейти к активным действиям, биты, гирьки и цепи нацелены на меня); собственно, локоть не так прост, как представляется на первый взгляд; ты рубишь кисть под острым углом, а птицы, взволнованные кошачьим присутствием, дикими глазами бывшего хищника и, вероятно, продолговатым пузырьком воздуха,

застрявшим в стекле над полосатой мордой, отчего кажется, что кошка погружается на дно океана, несчастные птицы замерли на цветной картинке в твоей глупой книжке, прости, я не умею читать, но, судя по всему, речь идет о смертельной болезни, ибо они измучены, лежат на боках, клювы приоткрыты, перья блеклы — однако, милый друг, каким способом ты определил, что они именно больны, а не мертвы, — пернатые создания улетели в рай, а тушки лежат для вида, для декорации, наверно, их даже выпотрошили и набили куриным пухом, старыми газетами, зелеными и красными пуговицами — или чем таксидермисты набивают бедных существ, откинувших коньки и отбросивших клюшки (и в таком нелепом образе — на лед небытия), и я отчаянно улепетываю от шпионов или шпаны, и (представьте мое экзальтированное состояние) далеко не сразу замечаю, что локоть зацепился за гвоздь (неприменно ржавый, как эти выпрение скобки), скольжу на месте, и тем смешнее выгляжу, чем быстрее ускоряюсь. В моем положении, господа хорошие, нельзя не замечать очевидных плюсов — я дышу вкусным мартовским воздухом, он наполняет мои внутренние полости, проникает в закоулки и посредством химических процессов сливается с кровью, не производя опасных пузырьков — к счастью, к черту, пух, мех, домино — ты выбираешь домино, младший скрещивает пальцы, уставился сквозь импровизированную решетку в сторону догоревшей свечи — а другой, не менее выразительный и жирный плюс заключается в том, что я вроде бы догнал девочнок. Кто из них Марта? Разве это не месяц? Сейчас не месяц март, неодобрительно произносит пенсионерка, одеты вы не по погоде, зато я полностью соответствую погоде, мне ветра не страшны, я стреляный воробей, торговка буравит меня насупленными очами и произносит отрывистые предложения, но понять не получается, потому что бегу и вот-вот настигну добычу, слова становятся бессмысленным бульканьем, странно, что нет пузырьков, срывающихся с губ. Что мы знаем о разделывании туш? Вот, допустим, стою на крыльчке, махаю топором над тушей,

кровь брызжет, ошметки плоти разлетаются в стороны, из-за забора подглядывают две испуганные деревенские девочки, подмигиваю, вытираю лицо тыльной стороной ладони; начинается дождь; мать громогласно зовет мальчиков, они будто прилипли, не двигаются и ждут моих дальнейших действий; под дождем движения становятся неточными; ливень усиливается, вода прибывает, и уже я будто рублю сквозь воду, вяло и бесполезно, медленно и нелепо, и тем интереснее смотрится с забора мое занятие, выродившееся в цирковую пантомиму; между тем скорбно думаю: под водой нечем дышать, и они скоро умрут, жаль, у человека нет жабр, как у птиц или кошек, а то бы помогли рубить; детские тела в рубищах замирают, коченеют, неспешно поднимаются к пустынным небесам, и за ними, опережая, лопаясь, отделяясь от туши, текут кровавые пузыри; воздух в крови способен привести к летальному исходу, эмболия сосудов неба — неприятная штука, и, подплыв, протыкаю крупные; на меня льется ушат грязных слов — наконец-то слышу торговку! — но, согласно удобным и простым принципам феноменологической редукции, все равно выключаю ее из вопрошания о природе видимого мира, потому что сейчас буду заниматься им одним, дабы уяснить окончательно и бесповоротно, в чем суть и сеть, кто свои, а кто чужие, где восточная майя, где весенняя марта; от картезианской редукции осталось, пожалуй, лишь название и это благородное, восхитительное название — единственное, чего она достигла. Будучи Декартом (я есмь Декарт, печальный французский мыслитель; использование московского языка — хищная дань ритуалу), ваш покорный раб на цепи довольствовался бы именем процедуры и сгинул бесследно, сойдя в винный погребок по ступенькам, выдолбленным в снегу, но тот, кто желает вновь поднять вопрос о сущности видимого и неявного, не должен, чертыхаясь, вваливаться в винные погребки, ему заказаны гнусные притоны, ибо разум держать следует кристально прозрачным, а волю — в узде; вообрази, хозяин, на одно туманное мгновение, что нет крикливой торговки, пестрого прилавка, навязчивого рыбьего запаха твоей

промежности, солнца (светило светлыми пятнами растеклось по мрачному небу), быстро, взволнованного шепота, ручейков крови, рисующих на полу затейливые абстрактные картины, даже гвоздя, даже локтя, — и, вообразив весь этот бесконечный беспредел, ты парадоксально придешь к безобразной мысли о том, что в действительности ничего нет и быть не может, и самое сомнение — продолжая картезианскую линию, выводишь на клетчатом листе бумаги, — не существует, а значит, в данном спекулятивном опыте мы зашли слишком далеко, в такие заочные области, куда Макар телят не гонял и, покамест нас не вытурили отсюда при помощи грязной тряпки, давай выбирать, а может, лучше построим новую крепость? — вполголоса произносит младший, но старший уже идет за матерью, которая, постояв несколько минут неподвижно над хлипкими постройками братьев, слабо улыбнулась и двинулась назад; она периодически оглядывалась и делала характерный жест согнутым указательным, будто стучала в стекло, и за оным будто бесновались перепуганные птицы в клетках, будто нарисованные на школьном тетрадном листе; что напугало птиц, спрашивает себя маленький Декарт, стоя в нижнем белье возле окна, неужели кошка? Кыш, проклятая! Хвост, прижатый к задним лапам, недовольно подергивается, животное демонстрирует острые клыки и шипит, дама оборачивается, на обычно невозмутимом лице сквозит явное неудовольствие, прикрикнуть на гадину, бросить книгой — нельзя: мальчики спят; остается играть в гляделки, а это бесперспективно и чревато поражением; сумрачный зверь истерично мяукает, и она механически переводит взгляд на постель, вот медные шишечки, вот витиеватые персидские узоры на подушках, а детей нет, пропали, словно таблетки, растворенные в стакане воды, или объекты картезианской редукции, неизвестно, кто вообразил, что их не существует, однако теперь приходится считаться с этим неудобным фактом, размышляет Декарт, меряя шагами узкое пространство балкона, где разномастный хлам — старинный комод, набитый старинным тряпьем, перепуганные кана-

рейки, лыжные палки — и огромные пыльные окна, и за ними через легкую снежную взвесь смутно проступают торговые ряды колхозного рынка, и силуэты прохожих, праздных гуляк и деловых людей, едва видны, как сонные мухи копошатся на окоченевшем трупe (грязном клочке мартовской земли) и всего примечательнее среди них странный тип с бегающими глазками (представим, что бегают), который очаровательно нелепо крадется за тремя (возможно, двумя) девицами школьного возраста. Будучи верными нашим философским принципам, мы заранее знаем, что ничего подобного не существует, но для того, чтобы провести редукцию наиболее радикальным образом, должны проследить эту цепочку означающих до самого гипотетического конца; кто он? Сложно сказать, наблюдая из окна за сумрачной тенью; впервые крадется или неоднократно репетировал на рынке нынешние осторожные шаги; и девочки — в туманном далеке они кажутся непонятными, убегают ли в страхе, смеются ли, заманивают ли соглядатая, притворяясь беспечными вертихвостками, или действительно ничего не понимают; грозит ли им реальная опасность или прохожий просто играет в свою игру с непонятными (нам, ему) правилами; вполне вероятно, он улепетывает от кого-нибудь и только притворяется соглядатаем, чтобы усыпить бдительность хулиганов; как бы там ни было, мальчики, смотрите и запоминайте, Декарт щурится и трет запотевшее стекло, и теперь кажется, что именно по этой стеклянной дорожке движется мужчина; медленность его перемещений объясняется отдаленностью от нас, добрых полкилометра отделяют остроглазого зрителя от вожденной сцены, где бледный актер провинциальной труппы играет не по возрасту одышливую роль, вот-вот догонит беспечных девиц, но, увы, незадачливый маньяк зацепился локтем за гвоздь в прилавке и бежит на месте, ускоряясь, покамест на него ворчит и машет тучная торговка, отсталая от жизни пенсионерка, а девицы — издеваясь? — выжидательно стоят на месте, точно их приколотил наглый гвоздик; вот они предположительно двинулись — трудно разобрать

наверняка, кажется, вся конструкция стоит на месте, однако она движется, потому что рынок остался позади, и счастливый джентльмен, потирая руки и насвистывая, следует на незначительном расстоянии; компания завернула за угол, и он — за угол; компания перемахнула через перекресток, и он — перемахнул; уже нет никаких сомнений, что цель его определилась окончательно; и старый город вырос, как на панорамном снимке заполняя собой обзор, но что мы видим — там и сям продуктовые киоски и торговые ряды, предприимчивые цыгане продают пуховые шали, крикливо зазывают народ, и не цыганка ли та неприятная торговка, и нет ли гвоздя на прилавке; двигайся аккуратнее, мысленно уговариваешь главного героя, не то снова угодишь на гвоздь; как лихой лыжник — флажки, он обходит препятствия и оказывается на финишной прямой; веселая компания плавно перемещается в подъезд старого дома в девять этажей, дальнейшая драма будет разворачиваться там; но так ли плавно происходило перемещение? О, отнюдь! Что-то задержало молодых возле подъездов, и это была... сперва, пожалуй, нужно рассказать о том, что хрущевка стояла на отшибе, на пригорке, поодаль от прочих однотипных зданий, особняком стояла, так сказать, хотя им не являлась по определению, и в примыкающем к строению дворике расположилась типичная детская площадка с грибком, акулой, песочницей и брусьями (окрыленно крутился физкультурник), тебя в первую голову заинтересовала песочница, потому что там в радостном одиночестве копались лопатками два мальчика — где мама? — потерянно вскрикиваешь, и брат случайно набрасывает в глаза песок, пока в кромешной слепоте щуришься, przygotowляясь завывать, набухшие небеса разрываются грозным ливнем, и потоки холодной воды очищают мир, но куда бежать, сверкает, грохочет со всех сторон, три страшно взрослые девицы юркнули в подъезд с какой-то бабушкой, и ты в панике тащишь брата за руку туда — мы точно живем здесь? Не знаю, отстань, мама вернется и тебе задаст, но вернется нескоро, она в особняке, в роскошной библиотеке выби-

рает наобум книгу с увлекательными картинками; например, смерть ангела; художник перестарался, — ангел, похожий на канарейку, лежит на боку, крылья прибиты к деревянному настилу, в животе рана размером с кулак, и мудрый эскулап с кошачьими чертами лица любуется скальпелем, отчего даме делается смешно, впрочем, безобразие, намалеванное на другой, смежной иллюстрации, вновь устраивает: детский дворик, песочница и два малыша, чьи глаза так густо замазаны песком, что даже мелко штрихованный ливень не помогает, приходится в образе сердобольной бабульки вытирать детские зенки, вести малышей за собой, поминутно озираясь, — нет ли погони? — и таким неудобным макаром он приближается к подъезду; переступив порог, главный герой проваливается в воду, забавно дергает конечностями, как подопытный лягушонок, но под действием неумолимой силы тяжести уходит вниз, однако подводная толща освещена скрытым источником света (или сверху через щель в кривых дверях проникает солнечный луч) и отчетливо видно: медленно размахиваясь, подводный мясник рубит тушу небольшого животного, его движения до того неторопливы, что можно съесть пачку попкорна или выпить чашку кофе, пока бледный, хилый, худощавый мужчина опускает топор сквозь воду, и куски небрежно нарубленной плоти проплывают мимо твоего невозмутимого лица, о, утопающий; если предположить, что отвратительные девчонки скрываются здесь, то ошметки мяса и красные вертикальные ручьи служат им удобным прикрытием; нужно тщательно все осмотреть, только воздуха в легких становится меньше, и пока есть силы, протагонист продолжает активность, отталкивая с пути синюшные лохмотья кожи, внутренние органы, обломки костей и другой навязчивый мусор, дабы как можно глубже забуриться и скрыться от соглядатаев, которые уже настолько близки, что слышны хриплое дыхание, осторожный шепот, и шелест, и шорох; один из них совсем маленький, лет четырех, но звериная злоба сверкает в зрачках, хотя по-настоящему страшен, пожалуй, второй, неопределенного возраста, протирая кулаками глазницы от ко-

лучего песка далеких пустынь, он морщится, и скалится, и дергает за рукав напряженного брата — задуй же свечу, увидит! — но тот погружается с головой в воду, сразу выныривает с плеском и брызжет из губ-трубочек в мое нарочито подставленное лицо; поднимаются волны; мать волнуется; волнуются и ангелы, срочно сооружая из туч бездонную лейку. Начинается дождь. Влага хлещет на куцые березки с оборванными частично ветками, на разноцветные автомобили, стекает с зонта пенсионерки и вырывается из ржавых желобов, оплетает прихотливыми ручьями, словно абстрактным рисунком, детскую площадку. Нас, впрочем, занимает иной объект, а именно здание в девять этажей — стандартное, крыша утыкана телевизионными антеннами, на стенах в положенных местах таинственная матерщина, за круглыми отверстиями холодильных камер в панелях под окнами скрываются — запомните навсегда — банки с солеными овощами; у подъезда на зеленой облупленной скамейке расположилась говорливая стайка подростков женского пола; ливень не мешает общению, ужимкам и смеху, потому что бетонный козырек мужественно принимает на себя его хлесткие капли; лишенные малейшего инстинкта самосохранения, они всей грудью бросаются с края небес и вдребезги разбиваются (как, должно быть, рыдают матери и отцы) на тысячи новых брызг, и те, в свою очередь, дробятся на более мелкие, и так далее — механизм разрушения запущен неизвестным извергом; и вот, вообразите, только вообразите, стою на рынке в ожидании Ольги, и за мной как будто искоса, исподволь наблюдает некий неустановленный мужчина, облокотился на пестрый прилавок, делает вид, что выбирает товар, но, в сущности, выбирает момент, чтобы последовать тайно за мной, и толстая цыганка-продащица, явно распознав его злокозненные намерения, отчитывает этого бесполезного покупателя, и он собирается уже двинуться, да не тут-то было — рукав напоролся на гвоздь, подозрительный тип не может тронуться с места, шаркает и шаркает ногами, сам, наверное, не понимая, что происходит, и вдруг (издалека обзор туманен),

замечаю, что он, напротив, не интересуется мной, а пытается убежать от двух отъявленных хулиганов, стоящих в отдалении (с гирьками и цепями), и чтобы он, наконец, двинулся, нужно его снять с гвоздя или хотя бы указать мужчине на столь досадную помеху, иначе шпана приблизится и совершит запланированное загодя грязное действие; ты говоришь о гвозде, но почему уверена, что — гвоздь, а не щепка, не кнопка, не третий шпаненок присел под прилавком и, зашипнув рукав, не дает индивиду сбежать, он самый маленький и ему особенно страшно под прилавком в большой эмалированной ванне, наполненной водой с пеной и пузырями, дама смотрит строго и пристально и говорит, что он ни в коем случае не должен разжимать пальцы, иначе каюк, силы на исходе, ткань ускользает и все-таки держится, и пена летит в глаза пожилой цыганке, она отступает, протирает веки и снова бормочет дрожащим голосом, но разобрать нельзя из-за дождя, и мы трындим на все лады, одновременно, так, что услышать, кто конкретно говорит на какую-либо определенную тему, невозможно; если смотреть сильно издалека на мир, омытый влагой, кажется, будто движения не существует, все застыли в странном параличе, неизлечимом ступоре, и худой, высокий мужчина в плаще, пальто или спортивной куртке не приближается к подъезду, а болтает ногами на месте, словно его держит невидимый гвоздь; пенсионерка, задрав голову в платке, смотрит на козырек — звонко разбиваются последние капли; мне тоже хочется посмотреть, но брат не пускает, в веселой ярости топчет меня, и мыльная вода проникает через губы, я кричу подружкам: спрячемся в подъезде и переждем; в шумной уличной суматохе (дождь, ветер) слова странно искажаются, и вот уже как будто я сухими чужими устами произношу: перережь, перережь, но это выполнить чрезвычайно трудно, ибо дрожат руки и топор соскальзывает с куска плоти, предназначенной для кормления канареек; погоди, ты ничего не путаешь? Канарейкам скормишь разве что глаза, а плоть и кости, уж прости, нуждаются в мощных челюстях и крепком желудке какой-нибудь отъявлен-

ной псины, — например, ты пошел на рынок купить собаку, потому что одинок и несчастен, собака нужна крупная и преданная; рынок страшит торговыми рядами, меж коих стремглав снуют пугливые, как мыши, прохожие; оступившись и угодив ногой в мелкую ямку, наполненную дождевой водой, ты внезапно понимаешь, что собака будет — водолаз, но не можешь окончательно решить вопрос имени будущего питомца, топчешься вокруг да около и постоянно оглядываешься, чтобы снова не угодить в лужу (густой ливень оплел торговые ряды абстрактным узором узких ручьев); водолазом на данный момент является лишь твоя нога, обутая в потрепанный ботинок или кроссовок на липучке, когда она осторожно проникает в ямку, то сперва недостает дна; если бы миниатюрная камера, вмонтированная в пятку, передавала изображение на твой старый цветной телевизор, что увидел бы ты, развалившийся в кресле валяжный домовладелец, — мы предполагаем: зажженные свечи на комод, неопределенную тень в углу, бледную женщину в цветастом платье или кимоно; неуверенно, как слепая, она бредет между книжных полок, набитых древними фолиантами, внимание ее цепляется за книгу на самом верху, но чтобы дотянуться, даме не требуется лестница, — толкается голыми ступнями и моментально поднимается к нужному месту, неспешно преодолев в воде пару метров, теперь окончательно ясно: на ней водолазный костюм старинного образца, — какую же книгу читает дама? с минимальным количеством текста и множеством черно-белых гравюр, где изображены славные дни давно отгремевшей войны за независимость неизвестной республики — последний чудом сохранившийся дом на отшибе, шпана возле подъезда, голодная, грязная, полуголая, как все мы, кто выжил, при этом удивительно наглая, беспечная и говорливая, особенно выразительно художник подчеркнул следы от наручников на запястьях у крайнего слева (страдал в застенках кровавых палачей) и шрам на шее у крайнего справа, этот шрам, если хорошенько взглядеться, выполнен в виде круглого оконца, наподобие холодильных камер

в панельных домах, где тоже живут люди, где протекает обычная жизнь, успевшая всем надоеть, где девочка ест несвежий салат и потом будет мучиться от поноса, а глупый пес грызет стоптанный тапок, но ничего медицинского ему не грозит, и старший брат смотрит телевизор — показывают шокирующие кадры военных действий, дом на отшибе (уцелел в бомбежке), опытный оператор выбирает драматичные ракурсы, камера под углом наезжает на бесполое лицо трупа, крупный план: изо рта свисает язык, на синей шее округлый шрам; переключение на средний: сердобольная бабулька с салазками, на них — соленые овощи в банках, заботливо укутанные одеялом; выжившие дают аккуратные интервью: три беспризорные девочки попросили провести к подъезду, боялись трупов на асфальте, с синими языками, разможенными затылками; сваленные, как принято, в кучу, мертвецы мерзко пахли — затяжной осенью, сырыми грибами, оплывшими восковыми свечами, чем-то неуловимо и баснословно живым; я тоже, признаться, боялась мертвецов, и повела детей окольной дорогой — через рынок, где цыганки торгуют краденными золотыми украшениями и пуховыми шалями и ледащие псины жмутся к мокрому прилавкам в надежде выпросить кусок мяса; в небе периодически грохотали отважные самолеты союзников; ветер истерично завывал, а то насвистывал; нам совершенно ничего не запомнилось там, кроме странного мужчины с бегающими глазками, который плотоядно на нас посматривал и порывался двинуться в нашу сторону, к счастью, что-то удерживало его, может быть, обыкновенный гвоздь, выточенный детскими или женскими руками на огромном заводе в громкие годы войны, — ты помнишь, сестра, пыльный полдень, темный цех, покатую спину горбуна-бригадира, и проволочно-гвоздильный станок, визжащий как сумасшедшая роженица, пока из него сыпались гвозди разного калибра, один гвоздь, к слову, выпал из твоей слабой ручки, медленно, как через мутную толщу воды, опустился на пол и, подталкиваемый инерцией, покотился к трещине в досках пола, откуда истерично завывал (а то

насытивал) ветер, попасть в дырочку велел сам Фрейд, посемя попал и, попав, очутился в нескончаемом падении, ибо никто не знает, что заключалось снизу – возможно, трещина вела к центру Земли, возможно, магнитные породы участвовали в бесконечном цикле притягивания/отталкивания железного предмета, или, проще – застрял в доске, которую потом использовали, дабы соорудить прилавок, похожий на крутую ступеньку лестницы, и по ней, кажется, спускался кто-то чужой и черный, в водолазном костюме, и очи за стеклом, томные, совершенно кошачьи, подчеркнуто равнодушно наблюдали за тем, что происходит – гвалт в клетках, беспорядочные половые акты, быстрые, задорные игры – кто кого обгонит в ограниченном пространстве коридора, в дальнем конце коего, тяжело спотыкаясь, бредет Декарт – будто его одолел душный сон – но отнюдь, философ бодрствует, и за крепким лбом развивается мысль о телесном составе, о том, можно ли окончательно разделить душу и тело, если с обыкновенной материей все ясно загодя, то тело – вот в чем дело! – является ли оно материей? и это очень трудный вопрос, приходится спотыкаться на каждом шагу, наваливаться на прилавки, чтобы отдышаться, покамест ненавидяще смотрят цыганки; материальность тела требуется проверить опытным путем, однако у нас недостаточно данных, часть из них и вовсе недостоверна, а прочие слишком легковесны, воздушны, как пузыри из рыбьего чрева; твоя задача состоит в следующем: едва потускнеют последние ночные звезды, превращаясь в первые утренние, едва вдоль торговых рядов зашландают прохожие, похожие на сонных глубоководных рыб с чувствительными усиками (светясь во тьме, куда они уплывают?), едва отгремит и отхлещет бессмысленный и беспощадный дождь, – принеси мне свежего фиалкового мыла, я буду, нагая, плавать в пене, и бить, со всей дури бить, и полетят сверкающие брызги – в зеркало, в потолок, в глаза твои; ты вскрикнешь и замотаешь головой, он переключит канал, нож войдет под жабры, и она с отвращением захлопнет страницу, – пора понять, почему локоть не отрывается; мы поднимем-

ся на девятый, где полосатая кошка всматривается в окно, точно выслеживает пернатую добычу, впрочем, ее внимание привлечено странной группкой школьниц (в одинаковых или разных одеждах), которые монотонно копаются в песочнице, стараясь вылепить – плохо различимый – объект, задуманное не удастся, поэтому снова и снова они ломают неясную структуру и возводят вновь, – строение все больше напоминает торговые ряды, где шландают редкие утренние прохожие, и худая пенсионерка в заштопанном пальтеце застыла возле прилавка, всматриваясь в крошечную круглую лужу, полную мутной влаги; наступила ли она туда или уронила неизвестный предмет и теперь приглядывается, как бы половчее достать, обдумывает возможную глубину ямки, – что если мелкость обманчива и до дна не дотянуться ни каблуком, ни рукой, приходится разбирать устье и нырять в старинном водолазном костюме, тяжело лавируя между вертикальных красных ручьев, приземляясь за высокий забор и жадно прикивая к щели: около грубо сколоченной избы он медленно, как при рапидной съемке, вздымает топор и опускает на ободранную тушу, бьет по локтю, и ошметки мяса, обвитые, словно абстрактными узорами, ручьями крови, отправляются в подводное путешествие; кого/что бы ты взял с собой? маму и любимую книжку; является любимой не потому, что – увлекательна, но исключительно из-за интересных иллюстраций, несколько даже смелых для детского издания (на вредных библиофильских раритетах выросла отчаянная шпана): черно-белые гравюры, в стилистике отчетливый привкус девятнадцатого века, – торговые ряды, обильные товары, изнеженные нищие; пристальный взгляд воображаемого искусствоведа останавливается на прилавке мясника: ободранная туша небольшого животного, тошнотворный, невыносимый, резкий запах чуть не сбивает с ног, я морщусь и все сильнее дергаю локтем – куда там, пальто зацепилось чересчур сильно, – отчаянно вырываюсь и внезапно чувствую резкую боль, по всей вероятности, гвоздь проделал дыру в одежде и сейчас воткнулся под кожу; прикрываю

веки, чтобы сразу не закричать и слышу, как неподалеку ворчит низенькая тетка неопределенного возраста: перед ней разыгралась неприятная история, один из уличных мальчишек, из будущей оголтелой шпаны, плеснул в другого песком, и оба от неожиданного страха заплакали, скоро подойдет мать в махровом халате на голое тело, уведет отпрысков в особняк, стоящий на отшибе, и долго будет протирать глаза ребенку, дабы тот сияющими восторженными очами взглянул на розовый туман утра, оранжевые полосы рассвета, на автомашины — какими маленькими кажутся снизу! — и вот группка школьников — застыла у подъезда, неустановленный мужчина важно наблюдает за ними из-за угла, периодически совершая попытку приблизиться, но с вершины птичьего полета порой трудно понять — движется объект или стоит на месте, сами движения его, в сущности, неразличимы, хотя мне до некоторой степени ясно, что все-таки я понемногу перемещаюсь, ускользая от злонамеренной шпаны за бетонные спины высоких домов, чрезвычайно сложно уяснить — меня ли гонят или я сам выслеживаю добычу; внутренний голос советует не заикливаться на тонкостях восприятия и белиберде физических границ, а сосредоточиться на школьницах (Марта?), сориентировать мужчину на незнакомой местности лучше них не сможет никто (разве тощие ворчливые бабульки в дореволюционных подштанниках, но они вымерли триллион лет назад); прежде чем задавать вопрос, нужно для самого себя уяснить пункт назначения; отчего-то странным образом кажется мне, что лишь спросив, я моментально пойму, и вот поднимаю повыше воротник, натягиваю черные очки, треугольником широкого шага переступаю бордюр тротуара и распахиваю рот, уже готовый произнести что-то важное, и здесь, на этом переломном этапе, становится ясно, что передо мной отнюдь не безобидные школьницы, а два вальяжных, два наглых подростка — подвело плохое зрение; типичная старческая проблема, организм разрушается, смутные тени пляшут вместо людей на улицах, вместо помоев из ведер вытекают кровь; шарю в карманах — выудить

конфетку, подарить и задобрить, но нащупываю ключ, серебристый, с зазубринами, и вот эти зазубрины, как чешуя усыпаящие его холодное горло, крайне неудобны в мгновение открывания, в момент соприкосновения дверной скважины и жесткой бородки ключа, можно час без толку провозиться и не попасть в квартиру или неправильно повернуть ключ и случайно очутиться в чужой квартире, где забегает, заголосит испуганная цыганка, прикрывая скромный скарб, предназначенный для продажи, и муж ее, бывший подводник, грозя кулаками, ринется в битву, и вот они уже мутузят друг друга, яростно сопя, меньшей побеждает и, несмотря на то, что мать дремлет, ребенок издает победный вопль и начинает раскачивать ванну (пузатая, стоит на тонких ножках на кафельном полу), и я, ощутив тоже невыразимый словами восторг, помогаю ему толкать ключ в ямку, полную дождевой влаги, а в дверь колотятся и рвутся, хотя я несколько раз повторил, что психически болен — я болен, оставьте меня в покое, — и ежели не прекратят, буду вынужден в срочном порядке покинуть помещение; но куда двинуть копыта, куда вильнуть? На север, в глубокую мглу; натянуть на уши шапку-ушанку и по колено в сухом снегу, — неведомые края, невероятная гиль, льдины застыят видимое пространство во весь горизонт, и если брести по ним налегке кокетливой походкой, придешь к торговым рядам, где суровые северные люди внимательно наблюдают: девчонка ты, которой можно доверять, или подозрительный парень, пройдоха, а коли с тобой окажется друг или два друга — пиши пропало на листе линованной тетради, выводи сердечки, признавайся в любви, загадывай желание и открывай секреты; я любил рисовать водоросли в тетради по литературе; мы не хотим учиться и пробуем избежать школы; он ходит по кругу с точильным камнем и пытается подточить ключ, который кто-то с далеким сдавленным криком спускает сверху сквозь напластования мутной зги, водорослей и световых пятен; ключ должен стать острым как гвоздь; главное — избежать зазубрин, менторским тоном произносит он, ученицы кропотливо записывают каждое

слово, девушкам не терпится по свежему хрустящему ледку побежать домой, но урок только начался, мерно гудят люминесцентные лампы, как яркие морские твари, распластанные по потолку, в соседней камере временно оборудована тюремная библиотека, и любой заключенный, при условии надлежащего поведения, может взять на руки увесистую книгу и надолго погрузиться в увлекательную историю, впрочем, местные обитатели в основной своей массе не любят читать, им больше подавай картинки рассматривать, совсем атрофировалось у народа чувство печатного слова; это история про успешного детектива, который (а прежде он щелкал дела как орешки) столкнулся с загадочным преступлением; полиция признала себя бессильной; и вот Жюль, возможно из чистой тщеславности, из желания показать коллегам, кто тут настоящий профессионал, берется раскрыть убийство в кратчайшие сроки, хотя, если говорить откровенно, не до конца ясно, совершено ли убийство, но имеются определенные следы и улики (гвоздь, выемка в песке, клетка с птицами), сопоставляя улики, Жюль подспудно ощущает, что комбинация здесь чрезвычайно хитрая и простому анализу не поддается; детектив теряет сон и покой, дни и ночи проводит, решая головоломную загадку, он страшно худеет и превращается в бледное подобие прежнего Жюля, перестает различать свет и темноту, путается в пространстве, и в конце концов оказывается перед закрытой дверью, каким-то образом он знает, что если откроет, то все мучения прекратятся — начальник полиции вручит награду, секретарша предложит тайное свидание, на газетном развороте напечатают фотопортрет его мужественного профиля, — мужчина бессмысленно и бесполезно колотит по ней кулаками, царапает ногтями клеенчатую обивку, грызет зубами стальную ручку (увы, он уже потерял человеческое лицо); потом печально шарит в карманах и неожиданно нащупывает ключ; наличие ключа резко меняет настроение детектива — теперь он насвистывает веселую песенку; протагонист даже не пытается вставить ключ в скважину и открыть дверь, потому что само присутствие этого маленького

предмета вселяет в него необыкновенную самоуверенность; потеряв весомую часть былой бдительности, он идет на рынок купить шаль жене-цыганке, о чем немедленно становится известно местной шпане; вот они, чумазые (помыться не помешает), в лохмотьях, шушукуются и перешептываются, подзадоривая друг друга, бренчат цепями, поигрывают гирьками, но никто не готов первым, каждый валит на товарища, а товарищ валится в зеленатоватую воду и лежит кверху брюхом, как уснувшая серая рыба, и скучающий Декарт проходит мимо по своим важным делам, или, что вероятнее, дел у него никаких нет, и он неспешно прогуливается в это мартовское утро по безлюдной площади; заметив, что вдали чернеют торговые ряды, ученый решает прокрасться или пробраться туда, в его обширной черепной коробке созревает смутное чувство, наверное, схожее с предполагаемым результатом феноменологической редукции, когда от вещей, от их докучной вещественности не остается ровным счетом ничего — чистый свет или размытая тень, и вот тут-то рождаются пять минут славы для ленивой мысли ленивого путешественника между прилавков, если совсем недавно ее наводняли глупые и банальные бытовые представления — трещина на пульте, выпотрошенная тушка, скользкие края ванной, — то ныне свободный путешественник мыслит только саму мысль, и все равно в какой-то момент он понимает, что не может отрешиться от неясной тревоги, которая поначалу всплывает с неизвестного дна, но постепенно находится источник, — видимо, Декарт был слишком неосторожен, пробираясь и продираясь среди длинных рядов, потерял привычную бдительность или глубоко погрузился в редукцию, заставляя исчезнуть назойливых цыганят, мертвых птиц, разноцветные шали, вездесущую синеву, истошный вопль ветра и, потеряв, облокотился, — а там уже пришли в движение иные силы, неподвластные разуму и его аккуратным операциям, откуда-то возник в прилавке <остро отточенный> гвоздь и впился в область локтя, мои торопливые попытки высвободиться ни к чему не привели, потому что я вел себя, как последний болван, суетился,

кряхтел, бормотал и на вопросительные взгляды торговки не отвечал, мне было стыдно, хотелось сию же минуту убраться оттуда, но ноги напрасно проскальзывали по гравию, никуда не унося неудобное тело, гвоздь, как стало известно потом, оказался большой, крепкий и наглый, с каждым рывком моим он заходил глубже и глубже, пока не вошел под кожу, чего я сперва совсем не почувствовал, — только усилилась тревога, даже померещилось, что я все-таки оторвался и двигаюсь в направлении группы беззаботных девочек, как канарейки щебечущих о школьных проблемах или неизлечимых болезнях домашних питомцев; щенки (или канарейки) часто подвержены резким непредсказуемым сменам настроения; мой щенок сидит у окна с независимым видом и шикарным видом на внутренний дворик, где с подозрительным видом прогуливается малолетняя шпана, напрочь лишенная моральных основ и здоровых нравственных качеств, можно проследить и понять, что молодые бандиты пристально наблюдают за школьницами на лавочке возле подъезда, неизвестно, какие мысли колобродят в бритых головах сорванцов, возможно там колобродят и бродят, и бредят неотчетливые сексуальные желания или убогие садистические фантазии, — как бы там ни было, в наших силах, товарищи жильцы, остановить гнусные поползновения, но каким же образом — подписать петицию о поголовном истреблении гопников при помощи топора и дожидаться ответа или вызвать инспектора по делам несовершеннолетних и предоставить ему самому разбираться в сложившейся ситуации, неприятной проблематике провинциального детства, но что если инспектор откажется в очередной раз связываться с неисправимыми хулиганами, замашет руками, отшатнется, закричит, замычит сквозь стиснутые губы, будто у него болит горло или зуб, и пошлет нас куда подальше — на лестницу, я выбегаю первый, босой, и она не замечает этого, потому что погружена в отвратительную книгу, бедный брат с ярким хохотом (Н. Языков) исподтишка толкает невнятную старуху, стоящую в подъезде уже полчаса, час, бабка, охнув, катится по ступенькам, про-

бует клюкой уцепиться за перила, но вместо перил невзначай захватывает мою ногу, и я, повизгивая как щенок, складываюсь пополам и качусь вместе с ней, и если поначалу падение и перекачивание туда и обратно по этажам кажутся ошеломительно быстрыми, то постепенно, спустя час или два, движения замедляются, и я уже могу разглядеть облупленные стены, изрисованные непристойностями, цветочные горшки, спулые акульки морды и равнодушную торговку, которая пересчитывает мелочь и не обращает внимания на двух подозрительных пацанов, они воровато крутятся рядом с прилавком, хотят улучшить момент и слямзить или даже стибрить нечто ценное — шаль, часть пышно разоде- того манекена, морскую звезду; необходимо в строжайшем порядке пресечь преступные намерения; от меня требуется немало мужества и выдержки, я не спускаю глаз с этих бледных девочек, смеющихся в узком, замкнутом и гулком пространстве подъезда, куда они угодили не без помощи ретивого милиционера, услужливого прохожего, доброжелательной пенсионерки, куда я бы сам смог доставить их с невероятной легкостью в объемных продуктовых сумках, да, боюсь, меня ждут более важные дела по увековечению ангелов, птичьих клеток и иных символов в черно-белых гравюрах, да, я художник-самоучка, грешен расписывать голые стены, и часто меня не отпускает волнительное чувство неожиданного и мучительного вдохновения, когда фигуры пойманы воображением, но нужной стены поблизости нет, вот и приходится, как слепому, щупать пустоту перед собой, касаться хмурого лица торговки и невидимым мелом вычерчивать на нем контуры распахнутых крыльев, темные провалы трупных пятен и перекладыны погасших окон; она, видимо, думает, я — священник и сбрендил от отсутствия товаров первой необходимости — мягких шалей, женских поясков, — и хрипло произносит: «берите последнее», но стоит мне на минутку заняться изучением вещей, как мальчишки приближаются вплотную к прилавку, так, что делается тяжело дышать, настолько сильно они давят с двух сторон; дабы не вспугнуть возмути-

тельных воришек, наклоняюсь низко, словно заинтересованный блестящей чепухой обыватель, беру шаль и как в теплую кровь погружаю в нее пальцы, я до того близок к ней, что вижу каждую отдельную шерстинку; иногда чудится (случайные мысли я тщательно, хотя и неразборчиво, фиксирую на тетрадных листах), что шерстинка всего одна, зато высокая, как девятиэтажный дом, и толстая, как глиняный колосс; она не движется, в ней нет отверстий, дверей и окон, но чем я дольше хожу вокруг да около, тем больше понимаю ее страшное одиночество, и мне хочется в огромном стволе шерстинки вырезать дверь — слепая надежда, что оттуда выйдет некто или нечто, и обнимет, и скажет слова утешения, не оставляет меня, наоборот, заставляет действовать, двигаться, копошиться, напрасно вертеть плотно стиснутым кулаком, в котором нет ключа, только гвоздь зажат в моем кулаке, господя, обычный строительный предмет, требуется приложить немало усилий, чтобы использовать его в качестве импровизированного ножа, но постепенно удается, и удается, заметьте, с плавностью сновидений или половых актов; сперва я рвал и метал, не умея как следует взрезать шерстинку, но с опытом пришла и текучая плавность сновидений, и легкость праздного донжуана, я примерялся миллион раз, чертил невидимые линии и однажды проник в трепещущий ствол, вырезал дверь; мечты сумрачной молодости сбылись стократно; из кривого отверстия потянуло холодком, потом стали выходить смуглые, смутные, перепутанные дети, непохожие на детей, а на кого они были похожи, спросит следователь или исследователь, и я отвечу: на рыб, спящих в подоле деревенской дурочки; а то — вместо ответа вздохну, поскребу недельную щетину и снова скошу взгляд в сторону: они напирают, прижали плотно, невыносимо; даром — сорванцы, беспризорные оборванцы, а обладают даром втираться в доверие, вот и женщина успокоилась и уже не так нервно вздрагивает, встречаясь глазами со мной, неужели она по своей простосердечности не понимает, что еще минута — и шаль украдут, а потом напялят на плечи манекена, обнаруженного на свал-

ке, будто это не кусок пластмассы, а полноценный человек, чья-то любимая бабушка — так ведь можно и обмануться, если смотреть с девятого этажа, пока в тесных клетках громкий переполох, и ужасное беспорядочное хлопанье крыльев напоминает телевизионные помехи, обмануться и обмишулиться, и действительно предположить, что подростки спрашивают дорогу, дом, адрес, и обиженная бабулька клюкой отгоняет хулиганов, но им не метается, и они продолжают прыгать на одной ножке, растопыренными перстами показывать смешной нос и все плотнее подбираться к товару, сдавливая мои ребра: ни пикнуть, ни вздохнуть, ни подумать, ни разобратся в неловкой ситуации; оставшийся воздух со свистом выходит изо рта, и я одичало озираюсь, инстинктивно выискивая удобное место, чтобы безопасно упасть без сознания, за прилавком сереет жестяная ванночка, должно быть, в ней полоскали белье, и я хочу упасть, хочу окончательно лишиться сознания, но что-то не дает, и этот гвоздь, тот самый, какой впился давеча в рукав (и глубже), я дергаю, дергаю локтем, проклятая железная заноза входит в сухожилия, заставляя меня корячиться и корчить рожу; неприятели трутся боками, давят, и я каким-то образом понимаю, что вижу обоих одновременно, следовательно, подпал под власть сезонного оптического обмана (часто является ранним мартом к солидным гражданам и заставляет изумляться плетению ручьев в черных земляных бороздах), и подростки расположены на порядочном расстоянии: собрались вокруг брошенного манекена с макияжем и оживленно болтают, но что же тогда душит, хотел спросить я вас, господя, и внезапно понял — ворот пальто стянулся от того, что гвоздь прихватил локоть, еще немного и задушу сам себя; поразившись этой, в сущности, сумасшедшей мысли, я прекратил рваться, бежать, раскачиваться;

вертикаль

трезво и рассудительно оцени ситуацию, взвесь возможности и обстоятельства; взять, допустим, девочек, которые спят в соседней

комнате и видят удивительные сны, — что вырастет из них, задается веселый воспитатель риторическим вопросом, готовится всплеснуть руками, горестно всплакнуть от бессилия, и вдруг во всем детском доме гаснет электричество, и особенно неуютно от того, что потух телевизор, детям совершенно неважно, есть свет или нет, а мне — отнюдь, я стал слепая медуза; вытянул тонкие пальцы и ощупываю темноту, чтобы переместиться в безопасное место; чувствую тихие шаги, тяжелое дыхание; господин санинспектор, простите, я не сделал ничего дурного; чистой альпийских снегов блистает сантехника в уборных и душевых, и души воспитанников блистают первозданной лепотой, и, отлично смазанные, не скрипят ручки кранов, и кафельные полотенца возвышаются, постиранные, в каморке кастелянши, той, что на костылях ковыляет, впрочем, насчет костылей он не уверен, но знает наверняка — пенсионерка ходит медленно и часто останавливается передохнуть, как спящая рыба, словно воздуха не хватает, длинно хватает воздух узкой щелью рта и пробует двигаться дальше в сплошной темноте; впереди — тусклый луч света; санинспектор скребется возле входной двери, желая попасть ключом в замок, но лихо орудуя гвоздем; и настойчивость, навязчивость одного товарища меня чрезвычайно, если не сказать — неимоверно, нервирует, я бы устроил ему хорошую взбучку, когда бы не занимался более важными делами, вот-вот приедет санинспектор, или даже вот-вот придет по лужам кинжального цвета, примчится на роскошной карете, приплывет в водолазной маске и непременно захочет выполнить во что бы то ни стало свои прямые обязанности; какой у тебя сан? кто ты сам? как мне назвать себя и данное заведение? стыдно мне за обитательниц пустоголовых, они могут взвезть запрещенные пылинки или повесить звонкие голоса за пределы допустимой нормы децибел, как две птицы, назойливо щебечущие в квартире соседки, которая куда-то ушла и оставила открытой дверь, и кто-то (бегает глаза, воротник высоко поднят) скребется в подъезде возле апартаментов — намерения определено у него злокознен-

ные, вопрос в том, справится ли незнакомец с замком до того, как появится хозяйка; конечно, нетрудно и так войти, ибо не заперто, но внутренний голос (или кодекс вора) не разрешает проникать в легкодоступные помещения, нужно ломать, бить по живому, кромсать и отрезать, покамест не забрезжит тусклый свет из тусклой тучи за занавеской и не махнет веником ворчливая или даже бранчливая уборщица, стараясь навести повсюду идеальный лоск; проинспектировать дозволяется, но где инспектор? — любопытствует персонаж, а вдруг уже в здании, прыгает ледяная мысль, и за ней другая, и третья — все комнаты в беспокойных мыслях, значит, нужно устроить превентивный осмотр убранства, резонно, как ему кажется, замечает мужчина, толстая торговка с подозрением косится на него; неужели проговорил вслух? срочно реабилитироваться, пропеть эти слова, будто строчки популярной песни; однако звуки застревают в горле, получается только надрывно откашляться; дети отшатываются и падают друг на друга в песочнице; персонаж в ужасе: разносить грязь не дозволяется никому и особенно запрещено осторожным кошкам с мягкими лапами — затопать, пустить трещотку, бросить книгой, несимпатичный персонаж задумал выгнать неопрятное животное под проливной дождь, но дверную ручку заело — рвется, пыхтит, дергает, и вот приоткрыто, пахнет невыносимой вонью из гортани сырого сада, господин санинспектор широко шагает в дом, нацепив дежурную улыбочку, дети с воем рассыпаются по темным углам, уборщицам и бухгалтерам приходится с силой удерживать входную дверь, покамест он скребется, пытаясь войти; я навалился локтем и прислушиваюсь к голосам мальчишек на верхотуре: неразборчиво, однако эмоционально; часто повторяется слово «ямка», по ассоциации перевозу взгляд на дыру стеклянного глазка, принимаю и проникаю угрем на ту сторону, где хулиганы от скуки долбят палками мерзлую землю и обсуждают неведомое, невидимое мне, то, что, возможно, требует самого колоссального инспекторского интереса, — пятно ржавчины на кишкообразной батарее, мокрые следы

на полу, незастланные постели, — моим первым побуждением было застелить и замывать, и, поскользнувшись на злополучных следах, я упал в невероятную мокроту, отплеиваясь, и отфыркиваясь, и погружался глубже, и яростно греб, дабы всплыть и горестно вопить: о, санинспектор, кто выдумал март, не ты ли? почему ты приходишь незаметно и не затемно, а на рассвете, и тыкаешь во все углы граблями, как у себя дома, и укрываешь плащом папочки и тесемочки, а пестики и тычинки считаешь не заслуживающими внимания, но токмо соринки и хвостики от колбасных шуток; ты ли хозяйничаешь или ветер скулит и скребет в распахнутых пахах наших шкафов и тумб; скоро приедут новые постояльцы — потрудись, поскреби шваброй, милая уборщица, полы должны блистать и слепить, и если санинспектор слепой, тогда по скрипу определит: чисто, нормы соблюдены, и заплетены косы у паршивых мальчиков, лишенных и намека на половое созревание; посади детей в угол, дай книжку с картинками, лишь бы не шумели, не шалили, лишь бы шелестели страницами, рассматривая древние казематы, базарную площадь, весенний денек, и вот он замахивается топором и под ужасной тяжестью заваливается и падает в ледяную прорубь, пробитую наглыми гопниками; тело не спешит расставаться с жизнью, бормочет, и лепечет, и пускает пузыри, и розовых рыб озирает, но дыхание перехватило, конечности весело свело, и светла верхняя плоскость, граница вещества; в нашем невесомом состоянии нельзя дотянуться туда, и мы простираем бледные пальцы, щупаем тьму, щиплем колючий мрак — почему колючий, мама? — потому что, мама, утро наступило и земля оплетена ручьями, словно абстрактными узорами и между затейливыми рисунками осторожно шагает слепой санинспектор, выбрался из лабиринта торговых рядов и спешит в детский дом — провести срочную экспертизу труб и раковин, осталось раздобыть адрес и ключ, разжиться инструментом, прочитать инструкцию, как вести себя в тех или иных обстоятельствах; обстоятельства способствовали перемещению отдельных лиц в отдаленные углы; го-

стиная опустела, подслеповатая уборщица долго бродила между постелей и не могла найти выход, шарахалась шорохов — заплыли маленькие рыбы с ядовитыми зубками? — трогала облупленные стены (с легким треском отваливалась и падала зеленая краска), и ладони бороздили бетон, как ловкие лодки-плоскодонки, ощущая прохладные места и таинственные выемки, и не боялись (совершенно напрасно) заноз и насекомых, и когда я потерял всякий стыд и страх и стал елозить, полностью опустив руки на шероховатую поверхность, локоть меня подвел, наткнулся на острый осколок затвердевшей краски или гвоздь, да, гвоздь, на котором прежде висела картина (румяные девушки, румяная весна, торговые ряды), доставшаяся мне по наследству от предыдущего владельца детского дома, большого любителя изобразительного искусства и капитального ремонта, он и сам нечто абстрактное рисовал, уединялся в кабинете — после него остались непристойности на стенах и каракули на тетрадных листах, в оных пыливый взор исследователей находил свое, близкое — кому-то мерещились ручки, кто-то прозревал морскую тину, а мне, тотальному дилетанту во всем, что касается творчества, удалось разглядеть заостренный, зазубренный ключ, висящий в подсобке, куда я двумя днями позже и забурился с намерением спрятаться от разгневанной уборщицы; директор, измученный ожиданием санинспектора, осерчал из-за нелепой мелочи (соринки, следов на полу) и отчитал женщину так жестко, что она долго плакала, забившись в уголок, и дабы успокоиться, водила ладонями по облупленной стене, где я, пришипленный, отчаянно извивался, в панике (и сослепу) не понимая, что происходит, кто держит вашего покорного раба за локоть; а в комнатах шурует специальный человек — документы и инструменты при нем — неизвестно, насколько далеко простирается его компетенция, возможно, за пределы нашего разума; и ежели найдет пятно или след — пиши пропало, и ежели обнаружит скрипение стульев — беги из города; мне бежать, представляете, некуда, скудный скарб мой здесь, я душевно привязан к этому тихому месту

и окрестностям; да и как бы я мог — ведь и пришиплен; глупости оставляю в стороне и думаю о предстоящем — уйма хлопот, море забот, необходимо провести санитарную обработку всех поверхностей — криволинейных и прямолинейных — поелику прибывают свежие девочки, жертвы дурного обращения со стороны родителей, жертвы равнодушного общества и напыщенного публицистического слога, — крахмалить простыни поручено кастелянше (она же и повариха), но леньматушка одолела эту бестолковую даму, и сонными, ничего внятного не выражающими глазами она уставилась на стену, словно в мутное зеркало или будто пытаюсь отыскать сходство стены с простыней — вот оно, найдено спустя несколько вялых минут, не нужно обладать оптикой часовщика и памятью искусствоведа, чтобы заметить определенные выемки и трещинки и сопоставить их с характерными складками и морщинами; если не доверяешь мне, подними простыню и совмести со стеной — совпадут мельчайшие подробности, — удивленный, ты отпустишь концы, и белая мгла опустится на тебя, закутывая и запутывая, лишая возможности нормально существовать, принимать пищу, скользить по дну, раскрывать рот и глазеть по сторонам; он был частично ослеплен и от неожиданно едва не сверзился под прилавок, содрал с головы тряпку, погрозил кулаком пенсионерке, которая стояла с виноватым видом и до сих пор не хотела приступить к своим прямым обязанностям; пятна и следы ждали уничтожения, однако ребристые ручки крана не шевелились, застыли на месте и не пускали капли полезной влаги; я, отважный исследователь запертых дверей и замкнутых окон, пытался просунуть в дырочку тонкий жилистый палец, и вскоре отверстие (плотное у входа и мягкое внутри) расступилось и пропустило, но не настолько глубоко, чтобы директор безошибочно определил причину поломки; в сырой трубе удалось нащупать твердый и острый предмет, похожий на ключ или гвоздь; и — минуту вся сомнения и страх — она решилась; знакомиться с проблемой поближе пришлось при помощи суровых дедовских методов: кончики пальцев

побелели, пока отчаянно расширяла отверстие, чтобы влезть целиком; растянувшись, по-пластунски ползти в узкой трубе водопроводного крана к неудобному предмету, пока металл вздымается и бугрится, и с ножами наголо навстречу лезут бывшие беспризорники, впрочем, обознался — немудрено в полумраке — (лампы мерцают и вот-вот потухнут), не ножи — а прошения и жалобы, и не дети — уборщица (она же кастелянша) прибыла умолять, теперь не разминуться, вынудит читать, ставить резолюции, реализовывать; слишком поздно замечаешь, что в крае нечем дышать; исчерпав собственный воздух, подплыл к уборщице, у нее страшные большие глаза, ярко накрашенные (не терплю потаскух в персонале) — нужно сделать вытык, выдать замечание, жестко пропесочить нарушительницу негласных правил, но катастрофически не хватает воздуха, и, распахнув пасть с острыми ядовитыми зубками, приникаю к ее рту и сосу дыхание до тех пор, пока она не перестает подавать признаки жизни, затем внимание мужчины устремляется к листкам с ходатайствами, на которых Декарт гусиным пером вывел: больше всего мы любим ездить в кабине лифта, молочно-желтым светятся кнопки, так и подмывает нажать указательным на нижнюю, но младший не достает, а старший побаивается; мать пребывает в тревожном ожидании, прислушивается к уханью и гулкому грохоту — случайная птица периодически порхнет в шахте или трос просвистит, и отпетые хулиганы кричат вверху или внизу сквозь замкнутые двери, образуя сильное эхо; осталось нажать кнопку, и громада тяжело двинется; братья сцепились в борьбе и вяло копошатся под управляющей панелью, — что не поделили они, спросит удивленный соглядатай, и Декарт скажет: книжку с картинками, купленную матерью давеча на рынке; очевидно, старший возьмет главный приз и понесет роскошный фолиант на вытянутых руках (или прижав к груди) по узким коридорам детдома, временами испуганно вздрагивая и озираясь; если стучат, значит, пришел санинспектор, и любое промедление подобно смерти, бросай писульки и рисунки — беги, встречай, кричит кастелян-

ша, сама застряла в дверях, подол предательски попал в щель, и теперь женщина рвется и бьется, опасаясь, как бы я не заснул в кабинете, устав от бумажной работы; как бы важный визитер не ретировался, измученный тщетным ожиданием; кусок материи трещит, но не поддается, ножницы на столе — не хватает буквально нескольких сантиметров, чтобы дотянуться; представьте мое неловкое положение, господи! Стою снаружи, колочу кулаком, из помещения то и дело — крик, вой; понять, что происходит — невозможно, невозможно и осознать суть редукции, если ничего нет, почему перед носом стена, почему тяжело ухаает и летает внизу и вверх безымянная птица; трудно вообразить реальное небытие, с оным, как правило, ассоциируется тот фрагмент черноты, какой возникает в мелькающей динамике моргания, эта срединная мгла, задавленная ярчайшими безднами, плохой репрезентант искомого факта (объекта или вещи), мы предлагаем взять за образец (*représentant*) пробку для затыкания дыры в ванной, приспособление полезное в хозяйстве, ибо вода по обыкновению просачивается во все отверстия, и ежели поймешь, что мать колотится и неразборчиво кричит за дверью, начинай осматривать пол, не затекает ли влага в щели (не хлюпают ли ботинки) — в тот момент, когда кабина целиком заполнится водой (девочки нахлобучили громоздкие скафандры), лифт тронется и медленно поползет в неизвестную сторону; нерасторопный механик поймет, что часть рукава зацепило плотно сжатыми створками, и примется дергать и вопить; любой бы другой сказал: хана, крышка, каюк; но я пускай и уверен в некой трансцендентальности смерти, доподлинно знаю, что еще не пора — поскольку движется гибельная машина со скоростью миллиметр в час, у механика есть время выпутаться из одежды или найти иной выход; да вот те же ножницы на столе — жаль, не дотянусь, проклятый гвоздь проколол локоть (о чем неоднократно упоминалось в соответствующих параграфах), и от каждого рывка все крепче насаживается, помогают нанизыванию и содрогания лифта, в коем мы движемся с невероятной стремительностью,

колени дрожат, гроыхает и трясет так, словно происходит разгон ультрасовременной подводной лодки — еще секунда, и попадем не на девятый этаж, а в темное пространство, сжатое тысячько атмосфер, где летит белый пух оттого, что взбивают подушки, готовятся и торопятся, а главный, бюрократ и подлец, пишет бумажки в различные инстанции, добывается прибытия санитарной инспекции, и оно скоро состоится, уверяю тебя, мне хорошо известна личность инспектора, верхки и корешки его жизни, а также его манера проникать незаметно и шастать по безлюдным коридорам в надежде отыскать отклонение от нормы, нарушение требований, а коли отклонение — явное, а нарушение — вопиющее, он испытывает восторг следователя, поймавшего шайку головорезов, психологические истоки столь бурной реакции идут безусловно из детства; мне было семь, ему — пять, мы плавали между черными кораллами и бархатистыми водорослями — наткнулись на раздутый труп утопленницы, совсем еще девочка, она подговорила подружек бойкотировать постылого крючкотвора; младший испуганно прижался к ее голой ноге, мать прикрикнула: «отстань, сейчас будем!», в открытые — ворвался пряный запах весны, и я увидел: у трупа отрублены руки по локоть, и, поднимая песчинки, пугая глупых рыбешек, заработал ластами — прочь, однако праздное любопытство взяло свое, и я одна, без подружек, вернулась туда, где шли ремонтные работы, то и дело звучал хриплый матерок, и шахта лифта распахнута настезь — из бездны сквозило; что заставило меня подойти ближе и даже склониться над ямой, откуда доносились странные, в каком-то смысле потусторонние звуки, — неведомо, досужая ли удаль, беспечность юности, бравурная беззаботность, не все ли равно, гораздо увлекательнее с точки зрения сюжетного наполнения романа описать тот мой роковой день от начала до финала, от фиансе до фиаско, от Аляски до Филиппин; вообрази, хозяин, прелестное красное утро и прекрасные ветра, веющие за закрытыми ставнями и веками, в дубах-колдунах и ведьминских травах, а то гораздо проще — сорвет кепку с прохоже-

го и презрительно швырнет в лужу — к опавшим листьям, так весна переходит в осень, а я перехожу из пустого мира снов в кипучее пространство планды; утро было утроено — в моих глазах, зеленых очах откормленной кошки, строгих буркалах воспитательницы, которая, кажется, не спала всю ночь и прислушивалась к ритму нашего дыхания; я всплыла ближе к поверхности и провела привычные процедуры, подвела, подкрасила, подрезала, и опять нырнула во мглу, надеясь ворваться в привычный утренний кавардак, но подозрительно тихими казались комнаты, я тайком подглядывала и убеждалась — никого нет, все ушли на торжественную линейку или на представление в актовЫй зал, а она проспала, провалялась, проваландалась и не заслуживает снисхождения, решила упитанная дама и потащила ребенка или почти ребенка на экзекуцию в чулан, однако добраться было не так-то просто, на лестничных пролетах суетились рабочие, подкрашивая и подмалевывая и столь энергично орудуя локтями, что попробуй пройди мимо — тебе же и аукнется, а лифт разобрали (кабина унеслась), и он зиял чернотой, и так мы с ней — бесцеремонной и острой на язык (второе дополнение неважно, ложно) — мгновение стояли на краю, как бы в раздумье, не сигануть ли вниз, пока директор не заметил и не воспрепятствовал, резкий окрик отрезвил кастеляншу, она отпустила мое плечо, привела в порядок собственную чопорную блузку и заспешила по хозяйственным делам — затереть пятна и затянуть дверные ручки, чтобы не проворачивались и не скрипели над ухом, пока валяешься сонный, обдумывая предстоящий день, что если именно сегодня явится санинспектор с бригадой оголтелых помощников (опять набрал одних детей) и примется выстукивать стены и выслеживать пятна, а дикая орава, вместо того, чтобы выстукивать (или по крайней мере наблюдать за процессом), разбежится по комнатам; они опрокинут стулья и снимут крышку с клавиш пианино, они разобьют пустую стеклянную вазу и какой-нибудь залетевший черт знает куда осколок обязательно (через неделю, через десять лет) вопьется в человека и причинит страдание,

тем более невероятное, что со стороны выглядит наверняка смехотворно: степенный, важный директор обнимает обои; лицо налилось кровью, руки беспомощно елозят, табуретка шатается; подпиленная ножка обломится, ты закричишь, повиснешь на рукаве, похожий на часовую стрелку, и станешь припоминать события этого злополучного дня, прокручивать в памяти различные эпизоды и, не умея собрать разрозненное в одно целое, взвоешь: «Кастелянша!!!» Дама услышит зов и, уходя, обернется: я по-прежнему зависла над бездной, меня завораживают тусклые внутренние лампочки и черные кабели непонятого назначения, но шагнуть боязно, останется балансировать и воспроизводить в уме выдающиеся и не очень события дня; соседки по палате предупредили заранее о запланированном визите высокого гостя, я должна успеть привести себя в порядок, выгладить блузку, и прочее, не собираешься же ты выгладеть растрепкой, коварно вопрошали они и подмигивали длинными ресницами, а я не спешила встать с постели, мне нравилось ощущать, как яркое весеннее солнце щекочет очи сквозь сомкнутые веки, и так я пролежала сорок тысяч лет, а когда человечество смыла вода, разожмурилась в толще океана и, конечно, никого не было, подружки превратились сперва в горстки выбеленных костей, потом в прах, развеянный ветром и унесенный волнами, детский дом обезлюдел, и привычные предметы обихода свободно плавают в нем, носимые течениями, и такой острый интерес к новому миру вдруг поднялся во мне, что я забиралась во все комнаты, открывала ящики, всюду совала нос и, как выяснилось, не зря, потому что директорский кабинет оказался заперт (ключ лежал в тумбе), а он-то как раз представлял наиболее любопытный объект, и прежде чем использовать ключ по назначению, я примкнула глазом к замочной скважине, и картина мне явилась невообразимо дурная: (читатель заглядывает через скважину двоеточия) директор в лохмотьях был припилен к стене за локоть, как бабочка за крыло, и, поднятый океаном наверх, напоминал стрелку, которая указывает на цифру двенадцать, я сдержала плач,

отшатнулась и угодила в узкую шахту лифта, где царила кромешная тьма, торчали железные конструкции и кружились юркие продолговатые рыбины, касаясь моих голых, голых, голых ног колючими плавниками, отчего ноги начали сильно чесаться, хотелось потереть обо что-нибудь, но гладкие стенки не приносили облегчения, и лифт, бесцеремонный, как взгляд кастиляниши, шуршал и дышал, и катил наверх, во мглу иного рода и качества; я знала, рано или поздно он остановится, и боялась увидеть того, о ком свои и чужие перешептывались с утра; личность сана небесного по явственным только ей приметам поймет, что я совершила оплошность, подняла пылинки и песчинки, расплескала и не завинтила, и едва поймет — обречена неминуемо; приникаю к черной резиновой щели и смотрю в ту сторону; все то же, директор пришиплен и вяло шевелится, неспособный совладать с элементарной проблемой, ему бы взять ножницы с края стола (растопыренные, смутно напоминают часовые стрелки), он тянется, трясется, но жалкого миллиметра не хватает — забавная пародия на танталовы муки; тогда меня разобрал нелепый смех, я отступила, створки сзади быстро сжались, и долгий подол предательски застрял в лифте, уходящем вверх, еще минута, и меня частично вознесут; в подобных почестях не нуждаюсь, пробормотала героиня и попыталась вырваться, но я держал крепко и раздумывал: дать нагоняй сейчас или отложить; в конце концов нельзя постоянно откладывать на потом — забудешь, что собирался сделать, обабишься, обрюзгнешь, с барской ленцой выйдешь на балкон (канарейки в клетке тебе хлопают), и гляди на полумертвый синий город, он удобно, удачно раскинулся в баснословной дали, и красное марево на горизонте, и гладкое движение облаков, и тихий двор внизу, наблюдай, впитывай зелень и розовость и не дергай хвостом, дабы не спугнуть (уже притихли); чья это собака, кто пустил собаку, возмущается начальник; пес наследит на полу, погрызет мебель, поднимет переполох среди воспитанниц; срочно удалить бродягу — звучит приказ, и ты, желая выслужиться перед хо-

зяином, бросаешься исполнять, да не тут-то было, что-то не дает отлепиться от стены, локоть плотно и прочно держится, а приказ звучит снова и снова, то прямо над ухом, то ухаает с огромного расстояния, и слова нельзя разобрать, бесформенной кашицей они перемещаются в своем невидимом состоянии, интонации ужесточаются, приказ требовательный и властный, ему невозможно сопротивляться, ты кричишь: «будет исполнено!» и бредешь в темноте, и стараешься выполнить неизвестное, настойчиво звучащее в голове; напуганный, делаешь все подряд: открываешь ржавые краны, затыкаешь ванны резиновыми пробками, выбиваешь пух из подушек и застилаешь незастеленное, ты проникаешь в комнаты девочек и начинаешь отчитывать первую попавшуюся за придуманный проступок и постепенно меняешь тон с гневного на восторженный (заклЮчить в объятия и в приливе или порыве нежности поцеловать в лобик), ты врываешься на балкон, с телеантенны вспугиваешь случайных птиц и глядишь вниз: как величественно просыпается город! черна и влажна далекая земля после дождя, и маленькими точками снуют первые прохожие; куда они спешат, задаешь логичный вопрос, и ответ приходит сам собой: на рынок — закупиться и закопаться в разного сорта вещах; допустим, в доме беда, кавардак, заржавели краны и не проворачиваются, или кончились гвозди, а то пуще — мальчишки испортили кнопки в лифте, и тот завис посередине непонятного этажа; мне было назначено надзирать, наказывать и следить за порядком; для того, чтобы исполнить предначертанное, нужно поймать наглецов, да застряли в кабине и на слезливые просьбы (суровые требования) выйти с поднятыми и принять то, что последует, реагируют неадекватно: хохочут и невнятно бормочут; вот я сейчас расширю отверстие, поглубже всуну указательный и покачаю в знак неодобрения, впрочем, есть (и мучают) определенные сомнения — что если укусят, полоснут лезвием или посадят на палец ядовитую медузу, и все же — отставить колебания, перестань быть рохлей и мямлей, решительно постучи кулаком в запертую

дверь; «сколько можно запирается? что подумают соседи?» — подобные вопросы в данном случае нерелевантны, запирается можно сколько угодно, а соседи не думают, они лениво плавают, раскинув плавники; сочини себе легенду, чтобы ни у кого не возникало вопросов относительно настоящей цели твоего посещения, которую ты безусловно запомнил в кавардаке и гаме, если когда-нибудь знал вообще; непременно возникнут осложнения, люди в штатском спросят: кто ты? какого сана? что инспектируешь, неловко шагая во мраке и жестами слепца шупая пустой воздух? Я — санинспектор, скажет прибывший, чем вызовет большой ажиотаж вокруг своей персоны; его речь будет короткой и запомнилась мне надолго, — спутывая прошлое и грядущее, пишет директор неряшливым почерком на клетчатой бумаге, сминая листы, начинает заново и опять мнет, и когда получается достойное прошение или жалоба, он согнул вчетверо, сунул в карман треников и направил стопы к ванной комнате, где уже хозяйничал неизвестно как там оказавшийся мужичок заурядной наружности, рассматривал устройство кранов, подкручивал, стучал ключом и ошеломленно цокал языком, словно ничего не мог понять — ни что он делает, ни как здесь очутился, еще более таинственным было назначение сложенной вчетверо бумажки в кармане треников, развернул: неразборчивые детские каракули — стоит расправить уголки, изучить подробнее; за нимением рядом стола приложил к стене; это было опрометчиво, потому что листок моментально набух влагой (мокрые стены — проблема многих современных ванн, ваша не стала исключением), и слова окончательно прекратили читаться, я заметался, только сейчас осознав, что натворил: изгваздал краску, испортил шпаклевку и дал повод свирепому санинспектору придрататься к чистоте и лепоте нашего, в остальном безупречного, детского дома; (скорей снять безобразие!) персонаж принялся сдирать и отскабливать, но бумажка прочно прилипла и ни в какую не желала счищаться; кропотливые старания не дали результата, и отдельные клочки, а то и целые уголки оставались на месте; я в от-

чаянии бешено и беспорядочно задвигал плотно прижатыми к стене руками и, видимо, напоролся локтем на гвоздь, потому что ощутил внезапную боль и более не мог шевелить правой, в то время как левая еще пыталась справиться с бумажкой, елозила и шуршала; затихла, и в наступившей тишине — слабое пение, судя по всему, с балкона — кто бы мог забраться? — возмутился я и направил стопы в это пространство, служащее исключительно для хранения ненужных вещей (треснутых лыж, сломанных клеток), медленно, как старый кот, директор выглянул в окно и никого не увидел, и ничего подозрительного не разобрал, однако для пущей верности посетил, проинспектировал; дверь отвориться не взалкала, ручка провернулась и скрипнула, я опять подергала — дрогнуло и грохнуло железо, боль усилилась; не поддавайся на провокации, господин хороший, — соседские мальчишки банально балуются, а ты навывдумывал невероятных страхов, инспекция, проверка, черта с два ему нужен пансион, чужак удовлетворится тем, что во дворе прибрано, походит кругами по площадке, заглянет в песочницу, попробует «гигантские шаги» и напишет резолюцию, прошение о помиловании, свидетельство о регистрации, красный диплом, кстати, о красном, помнит ли старшая, где ключ? — он, соврала я (назло ненавистной кастелянше), в надежном месте, тайном схроне, в ящике старинного комода, среди позапрошлого белья, в растрепанной книге с ломкими кленовыми листьями между страниц, ежели не утащили мыши, добавляет мать и хмурится, — предстоит перерыть кучу беспорядочно втиснутой одежды, делать этого не хочется, на балконе грязно и сыро после недавнего ливня, пахнет водорослями,

сечение

и тусклый свет сквозь густые облака освещает лицо юного Декарта, он вальяжно облокотился на стену и смотрит в окна противоположного дома, там, вероятно, происходит генеральная уборка, подготовка апартаментов к визиту высокого гостя или строгой

инспекции, а то, взывает автор к нашей смекалке, скоблят и моют ради чистоты самой по себе, ибо прекрасна она в ничем незамутненном виде; скажи, Декарт, тебе не хотелось бы шагом перемахнуть расстояние до соседнего балкона и принять посильное участие в уборке; и он снисходительно отвечает: ни капли, народ орудует расторопный, без меня управятся; да как же они без тебя, разуй буркала, дорогой мыслитель, и узри: барахла настолько много, что управятся еще не скоро, к тому времени, когда, возможно, санинспектор войдет и примется пальцем брезгливо трогать неотодранные бумажки на дверных косяках и каблуком скрести ржавые пятна на полу, а из карманов уже торчат уголки резолюций и констелляций — беспощадные тексты составлены загодя, достаточно подписать и вручить кому нужно; ты не тушуйся, малыш, не менжуйся, не пускай на самотек, аккуратно раздвинь катеты ног и соверши простейшую геометрическую операцию; халат и белые перчатки прилагаются; требую: кратчайшим путем разместить треугольник между домами, на выполнение дается веселый месяц март с висельниками во дворах и витиеватыми ручьями куда ни плюнь, и земля промозглая, стылая, неподатливая, допустим, бьешь лопаткой, а она сопротивляется, — на все это Декарт ответит положительно, примет доводы и аргументы (что, в общем, одно и то же) и примется скликать клику, то бишь невоспитанных воспитанниц, и едва девицы выстроятся, понукаемые кастеляншей, он встанет перед дверями лифта, приготовится к выходу и произнесет зажигательную речь о том, о сем, о подвигах, о славе, о том, что краны проворачиваются и скрипят, а спекулянты неустанно спекулируют, о том, что подол застрял, и вот я дергаю, дергаю — ни в какую, она только пуще прежнего кричит: оставьте в покое, управлюсь лично, — и продолжает расслабленно бродить во мраке; девчонки, выстроенные по росту, слушают напутствие директора; мужчина разошелся; жестикулируя, он даже соскочил с трибуны и машет руками, будто зовет кого-то издалика или, напротив, предупреждает о грозящей опасности, но то, что он говорит, свидетель-

ствует о неумном желании просвещать: просвистели канарейки до смерти и не заметили, какое сложное, затейливое плетение прутьев у клетки, оно геометрически выверено, можно ручаться и зуб давать, что квадраты без зазоров накладываются один на другой, совпадают идеально, превосходно, внутри каждого окна — незримые деления на треугольники, ромбы, трапеции; давайте мысленно проведем треугольник; наши ноги в состоянии раздвинутом вполне способны образовать данную фигуру, отвлеченно размышляет Декарт и пялится на соседний балкон, где группа школьников застыла, изображая геометрические формы; морские фигуры замерли, с удовлетворением отмечает он и подталкивает старшего: наблюдай внимательно, не шелохнется ли бровка, не дрогнет ли носогубная складка, и когда шелохнется и дрогнет, ничтоже сумняшеся указывай — и поменяетесь; значит ли это, что она должна попасть к нам? Совершенно верно, отвечает, а ты — к ним; однако, мама, сложно разглядеть складку и бровку, не пользуясь биноклем; сложи пальцы колючком — монокль; послушаться старшего нельзя ни в коем разе, влепит розог, лишит сладкого, заставит пить касторку; и через крохотное отверстие (старался и пыхтел, сгибая) уставился: непросто понять — перед ним (видны мельчайшие детали) скульптуры или живые фигуры в игре — поры кожи или следы времени на камне, естественные волоски или мох, облепивший валун; даже если она и шевелится, то я всматриваюсь так пристально, что не замечаю движений, иноразмерных моему ракурсу, возможно, девочка давно танцует и хохочет над недотепой, а товарки поют чистыми или нечистыми голосами, но угол зрения изменить не выходит — всюду поры, волоски, и слева, и справа, и внизу, и вверх, а еще пристальней — роение молекул, низкий гул, слоистая тьма; возьми коня, Декарт, скачи по дикому полю, со свистом и воплем веди биологический механизм к высокой башне, где томится пленница, оставь строптивое животное веселым слугам, и по бесконечной, фигурально выражаясь, винтовой лестнице — ввысь; фигуры мальчиков застыли, будто вы-

сеченные из камня или слепленные из морской глины, только глаза горят живым огнем: любопытно, ты принес горсть снега или ветер лесной, осенний дым или весенний вальс, приволок ободранную тушу или желтую птицу; делаешь загадочный вид, соблазнительно копаешь в кармане, а сам внимательно следишь за бровкой и складкой, и чем дальше копаешь, тем все очевиднее становится, что они абсолютно неподвижны, и ничем не спровоцировать тайный сдвиг, незаконное смещение, а причина элементарна: перед тобой манекен, обряженный в женские тряпки и напوماженный; и некто живой и глумливый, кому назначено, наблюдает, из подпола, подспудно, как на блюде балюстрады, ты всматриваешься в предмет, ошибочно принятый за человека, отмечает реакции; ухо держи остро, не допускай, чтобы руководитель заметил странности в твоём выступлении — конечно, имеются оправдания, и весьма весомые (горло перегрызла акула, медведь вырвал язык, подхватила досадную инфлюэнцу от подозрительной цыганки на рынке) — но ему твои слова — пыль и пепел, лепет и плевое дело, ты поступила верно, когда заняла привычную позицию среди девочек (средняя по росту), затем принялась открывать и закрывать рот, изображая, что поешь; болезное дите в самом начале допустило оплошность, чересчур ретиво взявшись за имитацию: еще не зазвенели голоса товаров, не заиграл патефон, выступающие волновались и готовились, а ты уже открывала и закрывала, и на гневный окрик: «Ловишь мух?» не нашла ответ, по лицу разлились багровые пятна (не путать с трупными) — так называемая краска стыда — и некуда было девать руки, они щупальцами поползли по плечам, персты сжались вокруг хрупких шей соседок, и тогда девочки запели, настолько тонко, насколько позволяли горла, и патефон затянул патетическое; перестань фальшиво зевать и влейся в согласованный хор; старайся шире открывать и попадать в такт; директор оценит, потреплет по щечке; скажет: репетиция удалась на славу, премирую певиц внеочередным походом на кухню, румяными ватрушками и сладкими плюшками, не забудьте отмыть

руки от крови, и если краны проворачиваются, немедленно примите меры для устранения неполадок; или скажет: давайте споем другую, интереснее, в лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, соленая была; однако хор воспротивится радикальному толкованию текста знакомой песни и предложит повторить заученное, то, что должно, по мысли великого хормейстера, поразить санинспектора при условии аккуратного и гармоничного исполнения, а именно незатейливую песенку о чистоте полов и помыслов, которую ты не любила, ибо считала, что полы недостаточно чисты в размерностях детского дома, а помыслы и вовсе неопишутемы, что официальному гостю достаточно трезвого взгляда на содеянное домоправителями (отвалился кран, в комнатах белый пух), дабы оценить, и обвинить, и моментально разразиться резолюциями и жалобами, впрочем, расчет на опьянение бравурной песней вполне мог оправдаться; в таком расположении духа (в полном затмении ума и сердца) санинспектор сочтет состояние объекта безукоризненным, нас — счастливейшими, персонал — душками, подарит мне скользкую раковину, хранящую запах и гул моря, и нырнет в узкую щель между стеной и диваном; туда не доносятся наши слабые голоса, — очевидно же, что слабые, хотя соседки напрягаются изо всех сил, дабы удивить хормейстера, и лишь я, смешное и несуразное звено, открываю вхолостую, сберегаю связки для крика, для хриплого шепота, для сонного бормотания и горького плача оттого, что напоролась на гвоздь и нельзя пошевелиться, не сбив девочек с такта; стараются, тянут бесплотные звуки, и душа моя, господа, расцветает, еще немного и пушусь в леткуенку, да не хочу сбивать и запутывать молодую поросль, она растет и стремится к свету, а я направлен в темный угол, записывать краны и регистрировать пятна; например, на средней — багровые, что, естественно, не мешает ей сочно и выразительно петь, остальные, кажется, отлынивают, впуская яркие рты; не считая этого незначительного действия, девочки неподвижны; Декарт недоумевает, как им удастся не шевелить

складкой и бровкой в течение вечности, и делает вывод, что в мельтешащих ртах сублимирована кипучесть телесных поплзновений; в конечном итоге фигура совершила достаточно действия, укажи на нее и поменяйтесь местами; Декарт не спешит прислушиваться к словам ведущего, он пристально смотрит на рот: то открыт, то закрыт, то открыт, то закрыт, невозможно точно определить момент, когда распахнутость замрет на полпути к замкнутости; не движение как таковое он видит, но — две крайние статичные позиции; и теперь бедному мальчугану, попавшему впросак, требуется всесторонне изучить загадочный феномен; (плох тот исследователь, какой не ставит опыты на себе, не глотает сомнительные препараты, не ложится на операционный стол, на коем недавно умерла замученная кошка), и вот наш французик расхрабрился и запел, пытаясь попадать в такт и следя за мгновениями собственного открывания/закрывания; девочки уменьшаются, будто его волнами относит вдаль; чтобы еще дальше не отнесло, быстрее работает ртом; способ превосходен — дети снова вырастают из мрака, пение усиливается; коварная вода подталкивает его к бледному лицу одной из хористок, и условно шевелящиеся рты оказываются друг напротив друга, и тогда я заметила странную, если не сказать подозрительно-странную, вещь, у него захлопнут, когда у меня открыт, и наоборот, у меня открыт, когда у него захлопнут, и этот разницей, это комическое несовпадение чем-то inferнально-ненормальным напугали девочку, она задергала ногами, чтобы выбраться из перепутаницы водорослей, но глубже увязла, вдобавок мелкому крабу вздумалось покусывать за пятку, стало неуютно и неприятно, она решила прекратить петь, и таким образом раз и навсегда покончить с бардаком, — захлопнула и уставилась на наглуую рожу напротив: произошли внезапные изменения — рот открылся наотмашь и уже не закрывался, торчал перед глазами как черная дыра, провал в никуда; в недрах мрака жил влажный язык и вроде бы — воспитанница не была уверена — приглушенное пение доносилось (такое тихое, будто приглашенное),

скорее всего Марта вообразила его, а не услышала; я сейчас проделаю занимательный опыт, подумала хористка (ибо кто мы, народные певицы, мы в действительности хирурги-экспериментаторы и лицезрим с балкона широкую плоть больной страны) и распахнула, и, распахнув, отпрянула, вернее, попыталась, однако плечи товаров держали сильнее иного пресса — рот визави закрылся, и отчетливо различались морщины возле скорбно поджатых губ, еле заметный пушок, старческая багровая пигментация, а пение тем не менее продолжалось; девочка поняла: теперь поет она, сильно, вольно и красиво; в лесу, она пела, родилась елочка, но точный адрес леса не назывался, и оставалось догадываться, в каком конкретно лесу ты родилась — в том, что за городской чертой начерчен словно детскими штрихами углем по синему небу, или в том, что скромно начинается за ржавыми гаражами и бурно продолжается в сизом логу, куда местные старушки выливают помой, поднимается на пригорок, похожий на рыхлую спину горбуна, и устремляется к горизонту, в его бесконечный мираж, и вот, бывало, встанешь на зорьке, и красноватые лучи через ветви делают щеки пунцовыми, пятнистыми, и неимоверно хочется зевнуть, и за тобой, точно глядишь с балкона на просыпающийся город, лесные изломы и залысины; и распахнешь, и распахнув, запрокинешься для удобства, и не сможешь удержаться, притянутый гравитацией, рухнешь в мутную воду и сразу пойдешь ко дну, открывая и закрывая рот, о, прославленный оперный певец, призванный привнести гармонию искусства в непросвещенные массы океана, и ни звука не услышат маленькие соглядатаи за хлипким забором — лишь серебристые пузыри вырвутся и, достигнув светлой плоскости, лопнут, и гладь, уже спокойная и неподвижная, произведет неясное быстрое движение, и мальчишки, расхохотавшись в голос, укажут и закричат: «она!» И она, беспрекословно повинувшись властным условностям игровой ситуации, шагнет вперед; в то же самое время и мы шагнем занять ее место; произойдет следующее — отметьте, пожалуйста особым цветом эту часть, красным или синим — не

имеет значения, но фрагмент должен отчетливо выделяться на фоне прочих, — я шагну, и воспитанница шагнет с балкона, и на пути до наших назначений мы столкнемся, ибо не рассчитали точную траекторию этого вкрадчивого движения, а кто шагает, предвзвешенно не обмозговав, не обрисовав маршрут, кто делает шаги бездумно, тот моментально теряет равновесие и более не нужен матушке-природе, на том отыгрываются хмурые гопники, того кусают мелкие зеленые мухи, и гордые коты уходят от него прочь по лесным тропинкам; остается разводить руками (и чем сильнее разводишь, тем дальше уносится горе), пить крепкий кофе и вспоминать былое: что было в былом у тебя такого незаурядного, волнуются господа офицеры, о чем ты готов вспоминать ежеминутно, вот и сейчас ты угрюмо облокотился о лакированную столешницу, и затуманенный взгляд, и носогубная складка, и согнутая бровка — все выдает особого рода задумчивость, какая бывает только у добреньких бабушек и капитанов дальнего плавания, у сытых крыс и набитых трухой чучел в цветущем огороде, поставленных отгонять назойливых птиц, которые нет-нет да и пикируют на клубнику; допустим, две фигуры в однородном пространстве установлены перпендикулярно друг другу, тогда что произойдет, если придать им одинаковые скорости и направить вперед по прямой, случиться может все, вплоть до приступа эпилепсии у больного ребенка в датской глухомани, или, например, некто выходит раненую канарейку и выпустит с балкона, и если вообразить, что на балконе противоположного дома тоже некто выпустит желтую и раненую, то птицы с математической неизбежностью не встретятся, разлетятся в серой мгле, зато наши фигуры сойдутся непременно; результат сближения зависит от скорости, мы придали объектам равномерное ускорение, значит, столкновение случится посередине пути, над пустой бездной мокрого двора, и не то увлеченные (как бывают увлечены кусками свежего мяса лохматые псы), а то увлекаемые грандиозной силой тяжести, фигуры направляются вниз с категоричностью, достойной лучшего при-

менения; появляется большой простор для различного рода домыслов, догадок, предсказаний и суеверий; упадут — к дождю, бубнит старушка, зависнут или застрянут в пространственных завихрениях, — будет солнце; а я терпеть не могу гадалок, я абсолютно рационален и знаю достоверно, что ничего хорошего не произойдет, и телевизор потух, и санинспектор скребется, как пес, у дверей, и репетиция сорвалась по причине отсутствия одной безответственной девочки, пришлось печально разойтись по комнатам, я занялся рисованием, потому что люблю и умею, они — запели «в лесу родилась елочка»; в тот момент, когда я поднес карандаш к бумаге, эта фраза зазвучала громче и навязчивей, моя рука дернулась и вывела куцию елочку на пригорке, рядом с десятком иных товаров, и ниже (так буйные шестиклассники бегут в столовую) криво и косо потянулись леса до горизонта, а под первым деревом уже лежал знакомый нам Декарт и сосал травинку; все шумит и куда-то несется, размышлял он, и облака надвинулись, и ветер ошалел — поставить бы ему прививку от бешенства, лишить прав и закрыть на замок, добавлял философ милые нам анахронизмы; есть предложение укрыться в доме, во дворе стемнело, неудобно, и свист такой, что закладывает уши; но как осмыслить замкнутость дверей, как понять и принять пустоту в карманах, где раньше лежал ключ или гвоздь, а ныне кукиш; однако в таком состоянии определенно имеются и положительные стороны: напевай любую ерунду, и никому не будет слышно, или можно пройтись, изображая слепца, все равно двор погружен во мрак, и вот так валко идешь, щупаешь нечто неуловимое, путешествие продолжается черт знает сколько минут, не то часов, в неожиданном лесу наткнешься локтем на ветку и замрешь, толком не осознав того, что произошло; что понимаешь ты, наткнувшийся сослепу? Куда попал, заплутав, куда забрел, куда забурился? Еще недавно пищали дети на площадке, суетился черный пес возле хозяина, бледная пенсионерка поправляла платок и следила за бетонным козырьком подъезда, а девочки репетировали, открывая и закрывая, и ты

безрадостно бродил по пустым комнатам, открывал и закрывал двери в надежде, что действия твои и воспитанниц твоих тайно совпадут, сойдутся, и не нужно будет подкручивать краны, стелить постели, все разрешится иначе, в другой перспективе, свободной и простой, и когда появится он, а он непременно появится, вырезав ключом проход...» здесь остановите и увеличьте фрагмент, левее, ниже, крупнее; что нам известно о синтагме «вырезав»? резать, прорези, резьба, резь, резкость, и прочие производные восходят к древнерусскому корню «рез», который издавна считался краеугольным камнем в фундаменте нашего языка; согласно теории профессора Яковлева, в каждом слове имеется небольшая прорезь или несколько прорезей, чья общая усредненная форма восходит к магическому корню «рез», визуальное его напоминает; доцент Зорин, печально известный (см. дело о помоях) и излюбленный ученик профессора, предложил инверсированную трактовку темы, в фундаментальном и скандальном труде «Резать и бить», написанном в начале 90-х, но по политическим причинам опубликованном в 2019 году, он поразил научную общественность тем, что логически обосновал казалось бы бредовую идею о разрезах как очертаниях самих букв; дескать, «рез» не просто центральный корень, но и древнее указание на то, что слова есть разрезы, и мы, по нелепой привычке, ставшей фатальным автоматизмом, считываем исключительно содержательный пласт, а не менее важный уровень, формальный, пропускаем, а ведь именно там кроется истинное назначение языка — резать, корябать поверхность, протыкать, лупить; профессора не вполне удовлетворило такое безыскусное, отчасти безвкусное, объяснение, и поздним зимним вечером он вызвал к себе на дачу ученика; старик отлеживался после тяжелой сердечной болезни, и курил трубку, и пускал колечки; брезгливый, высокомерный доцент долго стоял в изголовье постели, наконец, болезненный профессор разлепил морщинистые веки, впери в него мрачный пронзительный взгляд и задал элементарный, вроде бы, вопрос, ответ на который дать не смог бы,

пожалуй, никто, кроме, конечно, Зорина; он спросил о том, что если резать, корябать, протыкать и лупить — истинное предназначение языка, то какова природа поверхности, на коей происходят все эти манипуляции, и почему тогда язык наглухо замкнут на отношениях денотата с сигнификатом; биографы допускают, что именно тогда в голове Зорина что-то щелкнуло, произошел нехороший сдвиг (тщеславие ли повлияло, отчаяние ли, не важно), ученик расхохотался и его понесло; отнюдь не замкнут, разлюбезный доктор, зашаркал он ножкой, отнюдь, природа языка, как мы знаем, лишена самостоятельного смысла, но является руководством к действию; переходите к действию, заревел профессор; и некогда излюбленный, а ныне опальный ученик вытащил из кармана, как заправский фокусник на детском утреннике, небольшой столовый нож с костяной рукоятью (существует непопулярное мнение, что нож был не столовый, а банальная рыбкараскладушка); денотат — поверхность для сигнификата, на это недвусмысленно указывают буквы, и поверхность не абстрактная, а самая что ни на есть материальная, вот я сейчас продемонстрирую небывалое, невозможное... махая ножом, он отходил к стене; профессор не выдержал, заорал кухарку, но тишайшая женщина побоялась являться на гневный зов, тем более она слышала странные речи и видела в замочную скважину, как чудной гость залихватски машет лезвием; ее беспардонное неприбытие, ее молчаливый отказ стали, по мнению многих, началом новой эпохи, не лучше и не хуже других, но все же качественно иной; впоследствии никто даму не осудил, нашлись и ярые сторонники невмешательства среди элитной профессуры; но что же произошло за запертыми створками? — мы можем реконструировать цепочку событий, опираясь на занимательную книгу Снегиревых, которые, в то время будучи детьми, из озорства залезли на балкон дачи Яковлева и наблюдали за происходящим в комнатах; безусловно, совершенного доверия данному источнику нет, детская память столь же капризна, как воображение хмельного хормейстера, одна-

ко за неимением иных документальных материалов мы вынуждены довольствоваться этим; братья пишут: «возбужденный и разгоряченный, Зорин приблизился к обоям, воткнул кончик ножа в нарисованную розу и вывел букву «Я» — справедливости ради заметим: касательно буквы есть сомнения и разночтения, одни настаивают на том, что это была Ё, другие — Ю, тем не менее все сходятся на истинности того, что последовало: «из прорезей, оставленных ножом на ни в чем не повинных обоях, закапала кровь». Позвольте, спросит юный читатель прошлого — откуда кровь? Там что, труп в стене замурован? Какой такой труп?! — скажем ему прямо и грубо, — вали в свою допотопную эру, нечего по нашей шастать! — и тут же воскликнем с лукавой улыбкой, — да мы пошутили, оставайся, исследуй; проблематика крови поначалу была загадочной и для нас, особенно в связи с дальнейшим распространением сей темы в книге, ибо (правы мудрые японцы: мальчик Сей ведет за собой девочку Ибо) на одной букве, как вы понимаете, взволнованный доцент не остановился, продолжал резать бедные обои, выводя чепуху, ментекелфаресовщину, и после каждого взмаха и опускания из прорезей текла кровь, возможно, он написал «ЦОЙ ЖИВ», вероятнее — «М + Л = Л», братья попросту запомнили, зато избирательно цепкая молодая память сохранила дальнейшее: от коверкания обоев ученый хулиган перешел к уродованию ска-терти, цветочного горшка с поникшей гортензией, ворсистого коврика, он даже полоснул по горлу узкую хрустальную вазу, и отовсюду текла густая, темно-бордовая жидкость, насыщенная белками и анионами, иначе говоря, кровь; в роскошно изданном фолианте братьев имеется замечательная иллюстрация этого момента: бешеным вихрем по спальне носится Зорин (художник передал скорость при помощи волнистых линий, сопровождающих руки и ноги доцента), все вокруг кровотоцит, безнадежно исполосованное, а бедный профессор спрятался под одеяло, лишь поблескивают беспокойные глаза; диковинная теория чудовищным образом подтвердилась на практике; впрочем, нель-

зя утверждать наверняка, что Зорин заранее знал о последствиях разрезов, существуют немалые резоны предполагать, что он до конца сдерживался, не решался приступить к испытаниям, но насмешливый скептицизм профессора сподвиг упрямого молодого человека на демонстрацию того, что в прямом смысле вытекало из обскуренной теории; в автобиографии ближайший приятель доцента, доктор И.А. Булдаков, поделился с читателями ценнейшим наблюдением над последними днями жизни Зорина (как раз совпавшими с описываемым событием — пожалуйста, перестройте сами этот бурелом оборотов): «Ни с того ни с сего мог возопить: «молоко иль вода?! А потом напряженно забормотать: Черный чай, кофе... белый пух, сладкая вата... песок, да-да, песок». На распросы отмалчивался, казался полностью ушедшим в себя. Таким моего дражайшего друга я не видел еще никогда. Хорошо помню финал и смерть. Он вбежал в прихожую, обнял меня и скороговоркой заговорил: подтвердилось абсолютно все, и загадочная связь денотата с сигнификатом, и истечение жидкости из разрезов, одного я не смог предугадать, хотя ответ лежал на поверхности, вернее, под ней, — не чай и не молоко льется после того, как вспорешь предмет, а кровь! Кровь! Он истерично захохотал, вынул гигантский тесак (полагаем, автор преувеличивает). Обычная кровь, как у тебя и у меня. Гляди! Зорин воткнул лезвие в столешницу, и фонтан алой влаги оросил комнату. Понимаешь, я гений, гений! — завопил он, — это обыкновенная кровь, смотри! — он полоснул себе по ладони, затем, не в силах остановиться, будто буйнопомешанный, — по горлу. После чего упал, захрипел и умер, распластавшись в собственной красной жидкости, сволочь»; как бы то ни было, мировая общественность оставила вопрос гибели ученого открытым — суицид это был или Булдаков умышленно утаил от народа и правосудия важные подробности, всех отныне занимало другое — удивительная способность любых порезов кровотоцит; проблема потеряла чисто лингвистический, так сказать бескровный, характер и сделалась достоянием

широкой общественности наряду с вопросами внешней политики, пенсионной реформой и перипетиями мыльных сериалов; организм страны стал донельзя исполосован; дети раскупали ножички и развлекались тем, что кромсали все подряд: стены, деревья, асфальт и камни; нервные взрослые тоже возымили страстишку рубить с плеча, и комнаты соседей с нижнего этажа подчас неприглядно заливали кровью; катавасия продолжалась ровно неделю, однако вонь поднялась, как в мертвецкой, и неизвестно откуда целыми стаями слетались грифы; правительство пришло в себя и издало срочный закон, строго запрещающий колоть и резать что бы то ни было, кроме специально предназначенных для этого вещей; образовались комитеты для исследований свойств материи, незнакомых учебникам физики; начали изучать кровь, проводить исторические штудии, экспериментировать с водой, воздухом и прочими нестандартными поверхностями; тут и там создавались фонды борьбы с так называемым правительственным заговором, и первым, кто основал подобную мерзкую организацию, был Никита Портнов, 56-летний слесарь, до инцидента незаметный и скромный, работал на заводе шарикоподшипников, похоронил жену и нянчил внуков от двух дочерей; по загадочной прихоти судьбы именно он раньше всех задался специфической дилеммой; встал этот подозрительный тип утром на балконе, закурил папиросу, поиграл кустистыми бровями и пораскинул мозгами: почему раньше никто не замечал? ведь резали и ничего не выливалось; впрочем, точных примеров мужчина привести не мог, как ни силился вспомнить, ни что резали, ни кто, ни когда — память словно заклинило каким-то сломанным шарикоподшипником; смутная тревога не отпускала его до вечера, вскоре он заявился в редакцию местной газетенки и на отложенные на черный день рубли выпустил объявление о наборе единомышленников в наобум сочиненную организацию «Кровь и Правда», устав которой гласил: «А спросим-ка, братцы, правительство наше — почему раньше никто не замечал крови из предметных порезов? Или это как-то

скрывалось?» Страждущих услышать ответ набралось полсотни; народная делегация, расхрабрившись, пошла штурмовать райсовет; мужики топали, кричали, буянили; там их (и совершенно правильно!) повязали; зачинщик получил двадцать пять лет строгого режима, остальные до пятнадцати; столь жестокие меры должны были служить устрашением для будущих бунтарей, и действительно, на короткое время охладили пыл любопытствующих, и покамест народ приходил в себя, набирался решимости, власти обратились к лучшим представителям интеллигенции, чтобы те авторитетно пояснили: текла кровь из порезов прежде или не текла; несмотря на вроде бы элементарный вопрос, лучшие умы страны не сумели дать четкий и однозначный ответ, среди них сразу же возникли метания и шатания, кто-то кричал: «текла!» и ему десяток академиков ответствовали: «не текла!» А им, в свою очередь, возражали из еврейской общины: «И текла и не текла»; ситуация образовалась, прямо скажем, плачевная, никто не желал уступать, каждый представитель той или иной точки зрения носился со своей теорией, доказательства которой представлялись ему неопровержимыми; наша справедливая и прозорливая власть поняла, что идея зашла в тупик, президент вызвал густобородых ректоров и поставил строгий ультиматум: в течение двух дней разберитесь, договоритесь, найдите приемлемое решение — или пеняйте на себя; всякому известно, что правительство на ветер слова не бросает; перепуганные люди в мантиях тотчас собрали совет, попытались переубедить упрямцев и привести разногласия к единому мнению; несмотря на небывалую настойчивость, угрозы и улещивания, усилия остались втуне; ученые не видели друг в друге авторитетов, они только пуще ссорились и вопили, произошла бы небывалая потасовка с мордобитием, и тут с замечательным предложением выступил доктор исторических наук Валентин Валентинович Власов; брошюра, где впоследствии была опубликована его речь, стала библиографической редкостью; сперва он обрушился на тех, кто говорил: «текла!» потом, не оставив от доводов оппо-

нентов равным счетом ничего, напал на их идейных противников, и тоже в пух и прах разгромил систему аргументации оных; досталось и еврейчикам, противно попискивавшим во время выступления; «Вы все круглые идиоты! – вдохновенно завершал он монолог, – позор науки! Позеры и бесплодные фантазеры! Наплодили (sic!) убогих идеек, а ведь дальше собственных носов не видите! Хорошо, у вас есть я, иначе ваши натруженные задницы уже завтра этапировали бы на Колыму – валить лес! (инструкция «Как правильно валить лес ягодицами», увы, осталась ненаписанной оратором). Я нашел выход, единственно верный в нынешней ситуации. Раз мы ненавидим друг друга, за людей не считаем, нам нужен непреложный авторитет, решение которого будет принято всеми без исключения»; «и кто же он? – раздались насмешливые голоса, – мы сами себе авторитеты!»; «А я знаю такого, знаю! – побагровел Власов, – его зовут Сергей Анатольевич Крутиков». И сразу в зале установилась полная тишина, мало-помалу разбавляемая быстрыми перешептываниями: «Крутиков, ну конечно!» «А ведь точно, Крутиков!» «И как мы про него забыли?!» – развел руками старейший профессор; Крутиков этот с детства был ничем не примечательным типом, гонял голубей, вешал кошек, задира л девчонок, любил группу «Кино» и каждое лето с компанией дворовых ребят сбегал на речушку поплавать; в общем, не выделялся никак; учился посредственно и гуманитарным наукам предпочитал технические; а в старших классах неожиданно проявил уникальный талант; открыл его способности учитель труда, когда дал школьникам задание починить водопроводный кран; Сергей справился в считанные минуты, трудовик удивился на редкость удачному результату, дал еще кран, и мальчик моментально починил его, будто всю жизнь только этим и занимался; восхищенный преподаватель объявил Крутикова своим помощником и до конца курса обучил многому в нелегком деле починки сантехники; но путь от простого слесаря до грозного санинспектора только начинался; получив долгожданный диплом ПТУ, паренек устроился в ЖЭК

и там проявил себя ответственным и способным молодым специалистом, довольные бабушки и дедушки ежедневно приходили в контору и расхваливали работу Сергея Анатольевича – «не течет», говорили они, «не скрипит!» «Золотые руки у парня!»; слесарь стал востребованным и больше не мог тянуть лямку в незначительной конторе; он задумывался, искал объявления, прикидывал и все-таки не решался уйти с насиженного места; слух о мастере расползался по городу, и однажды к нему обратился представитель районной власти с хитрой просьбой посмотреть краны в управе, а там уже признался, что давно подыскивает смышленого парнишку для несложной работы по хозяйству. «Мыть полы?» – понурился Сергей, и собеседник его обнадежил, совсем не полы, напротив, работа не мокрая, хотя очень ответственная – составлять жалобы, прошения, писать резолюции, а главное, проверять выполнение санитарных норм в различных заведениях города и области. «А краны можно будет чинить?» – уточнил слесарь. «Обязательно. Кранами в основном и будете заниматься». Так для Крутикова наступила новая, серьезная и счастливая жизнь. Утром пели пташки и лаяли дворняжки, пробивалась первая влажная травка, и граждане, взъерошенные, с одутловатыми сонными лицами, торопились по своим делам, а Сергей неспешно попивал кофе и с улыбкой смотрел во двор – рабочие строили площадку, корпели над песочницей и пели; к полудню он отправлялся на службу – ехал на маршрутке, миновав извилистые торговые ряды, выходил к огромному зданию, взлетал на лифте под самую крышу, в тесный кабинет, заваленный бумагами, и принимался сочинять жалобы и подписывать резолюции; впрочем, писчебумажные занятия составляли малую часть работы, вскоре начальник посылал на объект, и там-то уж Крутиков показывал себя в полной мере, не было ни одного муниципального заведения, куда бы он не явился со строгим осмотром, и если видел белый пух, грязные следы на полу или потеки ржавчины на кранах, приходил в «радостное остервенение» и строчил вдохновенные жалобы, не забыв сперва починить и подтереть; особен-

но интересовался детскими домами, ибо там чаще всего царила ужасная антисанитария; получив очередное повышение, Сергей Анатольевич стал сам себе выписывать приказы; новоиспеченный враг нечистоты решил, что напрочь искоренит проблемы в домах для бездомных детишек, и настолько ярко проявил себя на этом поприще, что вскоре интернаты засияли и заблестали; к его приездам готовились загодя, хотя он любил сюрпризы и иногда приезжал без предупреждения; не слушая никаких оправданий, бежал к санузлам и там вертел, скрипел и довольно хохотал, покамест дрожащий и бледный от страха директор неуверительно обвинял в беспорядке кастеляншу; показывался инспектор и в институтах; интеллигенция сперва приняла в штыки его служебное рвение; «ну и что, загажено, — говорили они, — нам так нравится. Не лезь и не трогай»; Крутиков возмущался, отправлял многочисленные жалобы куда надо, читал вдохновенные лекции об антисанитарии, призывая преподавательский состав присутствовать в обязательном порядке; неистовыми усилиями санинспектора был лишен лицензии политехнический институт; здание, неизменно загаженное, снесли, и на расчищенной площадке тут же возникли цепочки торговых рядов; ректоры города и области провели тайное совещание, где постановили не чинить молодому специалисту никаких препятствий, напротив, оказывать всяческое содействие, и отныне содержать образовательные учреждения в идеальной чистоте; прошли чистки: тонны мусора каждый день выгружали из университетов; грязь, пух, тряпочки, палочки, мертвых клопов, все, что скопилось за десятилетия бурной деятельности, вываливали на свалку и затем сжигали; и оказалось — так даже лучше; «А ведь прав был Крутиков! — воскликнул в местной прессе Б. Б. Аполлонов, представитель юридической академии, — в кромешной грязи мы ползали в храмах знаний, забыв о том, что человека облагораживает не только развитый ум, но и окружающая среда»; в университеты словно плеснули живой водой; пожилые профессора посветлели, а студенты и вовсе расцвели; спасенные от нечист-

тот интеллектуалы Трупнойдска ежедневно восхваляли Крутикова, а он, считая, что ничего особенного не сделал — просто выполнял свою работу, — категорически отвергал похвалы и награды, предпочитал шумным застольям и пышным церемониям уединенное бытие скромного чиновника; выдающийся пример благородного аскетизма поразил горожан; вскоре Сергей Анатольевич превратился в живую легенду; к нему стали обращаться за советом, за экстренной помощью или так, приходили подивиться на спасителя; санинспектор никому не отказывал, находил время для каждого, и если не был сведущ в той области, которая интересовала просителя, отправлялся в библиотеку; говорят, его советы помогли совершить два мировых открытия в математике, глобальное переосмысление философии экзистенциализма и прорыв в сфере рыболовного промысла; в последние годы он, будучи в преклонном возрасте, отошел от бурной деятельности и, получив солидную пенсию, поселился на даче, в двадцати километрах от города; сажал картошку, чесал репу и слушал полонезы Шопена по радио; от реальности старик был далек и участия в общественной жизни не принимал; ректоры и проректоры рванулись к нему, на ходу составляя речь, призванную воспламенить богатое некогда воображение; «Как скажет — так и поступим», — перешептывались в толпе; завидев несметную ораву, испуганный Крутиков юркнул под одеяло (торчали одни глаза) и оттуда закричал, возмущался; ученые мужи успокоили старика и коротко поведали о причинах срочного визита; осознав, что его не собираются убивать и грабить, авторитет выполз на белый свет, покашлял для солидности, поправил ночной колпак и попробовал понять точный смысл слов непрошенных просителей; газеты он не читал, от недавних событий был в стороне, и долго не мог поверить, что ему говорят правду, а не насмеются над ним; потерявший терпение ректор полоснул ножом по спинке кровати — хлынула кровь, как из перерезанной артерии, старик вскрикнул и порывисто закрестился; академики снова принялись сбивчиво объяснять суть проблемы,

но теперь уже Крутиков слушал внимательно, прикидывал, шевелил бровями», — впрочем, последнюю подробность оставим на совести Марты Мартиновны, единственного (и скрупулезного) биографа санинспектора, которая в тот злополучный день оказалась с подругами во дворе крутиковской дачи, привлекая детское внимание небывалой роскошью; девицы вскарабкались на витиеватый балкончик и заглянули в спальню; две из них впоследствии стали хористками, а третья выбрала писательское поприще; беллетризованная биография А. Н. К. переполнена подобными неловкими и незначительными деталями; ну вот шевелит почтенный дед бровями — а к чему это знать читателю — неизвестно; в своей прозе Мартинова нарочито делает акцент на бровях, особенно на густых, кустистых; пылинки, положение волосков, динамика цвета — все идет в жилу, так сказать, в кость, в масть, при этом личность персонажа и перипетии его жизни блекнут и теряются на фоне огромных разросшихся бровей; тем не менее важнейшая сцена беседы санинспектора с просителями передана с минимальным количеством «телесности», оттого что книга о нем написана в золотой юности авторессы, стиль еще не заматерел, не обрел «уникальные акцентуации»; «Крутиков думал недолго, он все взвесил, оценил, принял к сведению и вот готов дать решение; гости впились в него умоляющими взглядами. «Ну же, дорогой, — подбодрил ректор, — скажите что-нибудь!» Сергей Анатольевич потер бровь и заговорил...» Он начал издали, попенял на общее бескультурье, прошелся по внешней политике, жестко осудил строительство соседом кирпичной бани, а насчет разрезов сказал: «Ответ на вашу закавыку легок как бровь. Посмотрите на кровь — темноватая, тухловатая, будто тело мертво, а внутренние жидкости еще имеют незначительное движение. Делаю вывод: город — труп. Не знаю, кто из вас убийца, и не хочу вдаваться в мелочи. Но стогны разлагаются. Даже отсюда чувствую слабые миазмы. А уж там вонь омерзительная. Мне — бывшему санинспектору — весьма противно такое положение. Посоветовал бы вам начать немедленно его

расчленять и избавляться от гниющих кусков, не то тлетворные бактерии расщепятся, придут болезни, настанет мор, выпадут брови»; не на шутку испуганные пророчеством старого чиновника, ученые немедленно отправили своих представителей в правительство; неизвестно, долго или коротко беседовали важные люди, только на следующий день газеты запестрели заголовками: «ТРУПНЫЙ ЯД ОПАСЕН ДЛЯ ЖИЗНИ!» «СОВЕТЫ ЮНЫМ РАСЧЛЕНИТЕЛЯМ», «КАК ВЫЖИТЬ В МЕРТВОМ ГОРОДЕ» и т.п.; строительная техника была снята с привычных объектов и брошена на центральные улицы — решили начать с них; инженеры металлургического завода за неделю изобрели огромную пилу-ножовку, которая крепилась на двух стальных стойках и вгрызалась в мостовую, вибрируя и повизгивая, и в считанные минуты добиралась до глубинных пластов; разделенные таким способом куски вырывались экскаваторами и отвозились на свалку; гниющую плоть предполагалось утилизировать химическими методами — их разрабатывали в секретных лабораториях; по проспектам потекла кровь, то мощной струей, то извиваясь затайливыми абстрактными узорами; жители ошалели от крепкого запаха и с восторгом втянулись в кровавую вакханалию, словно отказываясь понимать, что разрушение города неизбежно приведет к уничтожению домов; тысячи людей в окровавленной одежде копошились на улицах, кромсая, рубя, пиля и дергая; вывернутая с корнем земля продолжала кровоточить; ученые задавались вопросом о глубине расчленения — имеются ли пласты грунта, где нет крови? — и не находили ответа; город разрезали, кромсали, кололи, били, забивали, кроили, крошили, рубили, пилили, делили, анатомировали, вскрывали, шинковали, распарывали, пластали, умерщвляли, ставили в безвыходное положение, потрошили, оперировали, убивали, а также зашибали, колошматили, месили, молотили, обрабатывали, мозжили, лупцевали, мутузили, повреждали, пыряли, давили, секли, трепали, хряпали, швыряли, пытали, утюжили, и снова разрезали, кромсали, кололи, били, забивали, кроили, крошили, рубили, пилили,

делили, анатомировали, вскрывали, шинковали, распарывали, пластали, умерщвляли, ставили в безвыходное положение, потрошили, оперировали, убивали, и опять зашибали, колошматили, месили, молотили, обрабатывали, мозжили, лупцевали, мутузили, повреждали, пыряли, давили, секли, трепали, хряпали, швыряли, пытали, утюжили

И КОСВЕННО — О ПОЛЕТЕ

до тех пор, пока не добрались до недр, от туда, из крошечного отверстия, незаметного даже при пристальном осмотре объекта, шел странный свист; он прямо свидетельствовал о том, что через скрытую дыру проникает воздух, и косвенно — о полете; вот так глодаешь мозговую кость, а за окном туман клубится, март, как бы раздвоенный в сонных глазах смотрящего, всюду, и, взявшись за руки, попарно по улице ходят школьницы, напрочь пьяные или слишком веселые, ошалели от ветра и мокрого снега; встать бы, размять ноги, сходить, предположим, к торговым рядам, прикупить шаль шальной жене, но сразу одергиваешь себя, задаваясь осторожными и вместе с тем жестокими вопросами: зачем слепорожденному прогулки, да еще в людных местах, велик риск наткнуться на компанию гопников, на острый предмет, на бродячих собак, подхватить грипп и несолоно хлебавши вернуться назад, чтобы заснуть под мерное гудение телевизора, где давно кончился эфир, и я когда-нибудь расскажу тебе свой недавний сон, и он лепечет, прижимаясь, не нужно, лучше напомни, когда появляются первые бабочки, самые первые — изначальные — возникли много тысяч лет назад, в то время они были косматыми обезьянами, прыгали по длинным лианам, переговаривались с помощью резких гортанных звуков и вели дикий образ жизни, присуший, впрочем, любому животному — убивали, совокуплялись, валялись в грязи, вычесывали вшей; а потом стали трансформироваться: изменились повадки и привычки, укоротились конечности, выпрямились спины, выросли хоботки и сквозь позвоночки прорезались

крылья, и тогда они поднялись в воздух разноцветной стайкой, опустились на красные, словно облитые кровью, головки гигантских тропических цветов и принялись поглощать нектар; как ты себе представляешь полеты бабочек; себе — никак, но тебе, тебе я представлю в лицах, и полеты, и балеты, и осенние перелеты, и замиранья сердец, и бессердечную толпу на площади; народ ахает и охает, не в силах оторваться от зрелища — воронка, пролом, яма, выбоина, огромная трещина, того и гляди сверзитесь, шикает мать на вертячих сыновей, и суровые милиционеры пуще сдвигают брови, и грозят дубинками, и призывают любопытствующих отойти на безопасное расстояние; но если хочется проникнуть и приникнуть — перелети через круг охраны; достаточно сжать ноги в коленях, толкнуться, и вот мы поднимаемся вверх, и воздух густ и тепел, как морская вода возле поверхности; что ты скажешь о доме; он вдали; о синеве; синева заледенела; о тяжести; о тяжести не знаю; точка с запятой в данном случае визуально отображает движения бабочки над ямой; непроницаемые лица бывших вертухаев; нервные гражданки пихаются локтями, дабы пробраться и установить суть — и тут же отброшены назад; толпа волнуется как водоросль; спокойно, медленно пролетаю над касками и вижу, что скрывается от гражданских: изгиб, излом, провал, и с высоты (прожитых лет, прошитых тел, пройденных лье) — расщелина кажется небольшой лункой, и на дне — сверкание; может быть, мы — вороны; случайный блеск иглой вонзается в глаз; мы любим пестрое, яркое, кричащее — и пышные шали, и дальние дали, когда-то мы любили других людей, со снулыми физиономиями, вредными привычками, невыносимыми правилами, с бесконечным запасом ненависти и отчаяния, родных, чужих, немногословных и красноречивых, толстых и тонких, а теперь мы перешли — так переходят отражения из зеркала в зеркало, бледнея раз от раза, достигая прозрачности, — на блестящие вещицы, и если поскользнешься на мартовском ледке, рухнешь всей грудью на жесткое, и глазом, как на нож,

напорешься на дыру, — не торопись сматывать удочки, остепенись, вынь тетрадь для наблюдений, пиши: когда-то мы любили других людей, балагуров и молчаливых, в апатии и в экзальтации, не верящих в собственную смерть, равнодушных свидетелей мелких преступлений и мелких мошенников, людей, которые проходили сквозь нас как сквозь воду или густую тень корявой акации, людей, которые вечно куда-то спешили, и людей, лениво развалившихся на диване; когда-то, сорок тысяч лет назад, мы брались за руки и болтали запястьями и бродили по проспектам, и они непременно выводили к торговым рядам, и мы покупали шали, флаконы дешевых духов, маленькие блестящие безделушки, и брызгались, и смеялись, и говорили о других людях, полнокровных, сильных, красивых, способных на высокие чувства, мы их любили, тайно и явно, и они отвечали нам по-разному — взаимностью и холодностью, в зависимости от настроения, и не было ничего горше отказа и слаще согласия, и бытовой героизм состоял в том, чтобы не хлопнуть дверью, не расплакаться при всех, не превратиться в весенний дым, и давать течь событиям и явлениям; мы любили шумные посиделки, сальные шутки, открытые окна и зажмуренные глаза, любили прятаться и быть найденными, отвечать за свои слова и нести заведомую чушь, бегать наперегонки и плестись в хвосте, лежать в колючей траве и стоять под проливным дождем, хранить секреты и выдавать чужие тайны, бормотать на несуществующих языках и петь популярные песни, шагать строем и брести вразброд, мы любили город — и кирпичные стены, и стильные лужи, и безлюдные парки, и громкие танцплощадки под небом, — и всех бездомных собак и кошек, и всех домашних собак и кошек, и поди еще посмотри, какая сильнее озлобилась за годы скитаний или неумемного холения, любили резкие звуки и вкрадчивые, шелест шин, дробный перестук копыт, нарастающий шорох ветра в ветвях неизвестного дерева, мы любили детей и женщин преклонного возраста, молодых продавщиц мороженого и веселых грузчиков, циркачей (мы обожали цирк) и трюка-

чей, гимнастов и фокусников, белые ленты, фетровые шляпы, голубей под куполом, мы любили ложиться поздно, а вставать рано, любили сны — и добрые, и страшные, но все-таки настоящее мы любили больше, нам нравилось ощущать вещественность мира: шероховатость бетона, гладкость яблока, плавность своего голоса, упругость резинового мяча, липкость пальцев после держания медовых сот, тяжесть учебников, хрупкость и нежность паутины, легкость сухих листьев, скорость, с какой черная взьерошенная крыса бежит из подвала в подвал, стремительность, с какой улепетывает магазинный воришка, быстроту мотоцикла на ночном шоссе, мы любили ловкость канатоходцев, силу гиревиков, гибкость гимнастов, любили делать гербарии, лепить из пластилина, рисовать рожицы, заводили коллекции марок и бабочек, стряхивали крошки с обеденного стола, читали вслух и про себя, плакали по пустякам, жаловались на соседей по партам, дрожали от холода, хотели есть, падали, катились, стучали, грызли, давились, приходили в чувство, выпивали стакан молока, бегали по постелям, выбивали пух из подушек, секретничали, ссорились, мирились, мечтали, красили ногти, веки, губы, подводили ресницы, подводили родителей, возвращались навеселе, кашляли, ставили градусник, лежали в забытьи, говорили комплименты, беспричинно лгали, таскали печенье, мыли посуду, мы любили мужчин — кареглазых и голубоглазых, сильных и стройных, правых во всем и не правых ни в чем, грубых и жестоких, мягких и обходительных, богатых и нищих, высоких и низких, ревнивых и доверчивых, мы любили женщин с модельными фигурами или мешковатыми телесами, женщин, которые знают себе цену и по утрам без поводков выгуливают ухоженных шплицев, носят черные очки и кожаные плащи с хлястиками, говорят отрывисто и всегда по делу, уезжают на курорты и не возвращаются, мы любили домашних девушек, старомодных и неуклюжих, с леденцами в карманах серых пальто, стеснительных и развязных, обрученных и обреченных, девушек, которые смотрят сериалы и обсуждают весенние скидки, пересдают

экзамены и ловят такси, переходят дорогу в неполюженном месте и годам к двадцати непоправимо стареют, мы любили друг друга — за звонкий смех, порывистые движения, по привычке, по зову крови, просто так, мы таскали друг друга за волосы, бранились, швырялись грязными носками, использованными салфетками, бокалами и тарелками, снежками и песком, и питали настолько глубокую взаимную ненависть, что примирение затягивалось на месяцы, мы проводили время в ничегонеделании, вяло валандались в подъездах, распевая тюремные песни под гитару, плевались с балконов, дергали котов за хвосты, подкладывали кнопки под зад, писали мелом на заборе, носились как угорелые по заброшенным стройкам, собирали макулатуру, качали мускулатуру, подглядывали за девчонками, динамили мальчиков, ходили попарно, лечили ветрянку, водянку и педикулез, не лечили грипп и ангину, не следили за происходящим в стране, по праздникам махали флажками, рассыпали конфетти, выразительно читали стихи, получали поощрительные призы, на все лето уезжали в деревню, и запах конюшен был нашим сердцам чрезвычайно мил, и сеновалы скрывали больше тайн, чем дворцы, и жужелицы, и кузнечики, и божьи коровки скакали, ползли, роились, копошились, издавали различные звуки, пугали маленьких, а еще мы не приходили вовремя, давали трогать себя за грудь, грубили бабушке, долго одевались, клевали носом, жгли костры, неслись в тряских вагонах, дрыхли на верхних полках, сдували пенку с молока, теряли варежки, ключи, шапки, находили потерянное, мучились от незнания, — и за все про все — за случайно сказанное обидное слово, за незастланную постель, за раздавленного жука, — мы превратились в дым, — оттого, что быстро бежали или как-то неловко повернулись, и что-то хрустнуло в шее, — мы превратились в дым, — оперлись на перила, внимательно глядя на балкон соседнего здания, где кто-то, похожий на нас, играл с котом, — и превратились в дым, — шагнули через лужу, которая волнисто отразила наши широкие юбки, — и превратились в дым, — хлопнули

в ладоши назло воспитательнице, рассмеялись, — и превратились в дым, — сослались на стечение обстоятельств, припомнили подробности, описали подозрительных лиц, — и превратились в дым, — мы превратились в дым ничтоже сумняшеся, спрехвала, без большого усердия, элементарно, и началось бесконечное путешествие к вершинам, и коронам, и крышам, и шпилям, и тучам, и звездам, и ветер шептал, и подвывал, и, подвывая, тянул за собой в голубую прорву, и мы, не желая расставаться с миром малых и больших величин, геометрических свойств, вязкости и упругости, прозрачно и призрачно стлались по земле, и проникали в закрытые окна через крошечные щели, и ничего не видели, не слышали, не ощущали, но все-таки каким-то непостижимым образом, третьим глазом, шестым чувством, ориентировались в (уже) причудливо устроенных пространствах меблированных комнат и, отчасти перенимая свойства проемов и выемок, передавали окружению собственные — таинственные — свойства, и вещи, возможно, приходили в движение, и возможно, невесомо поднимались к потолку и болтались, стучаясь ножками, ручками и прочими причиндалами, пока мы улетучивались, собирались в белесый шар, распадалась бледными лохмотьями и низко плыли над подстриженными газонами, лысоватыми лужайками, лесными тропинками, мы устремлялись во все стороны одновременно, чтобы сойтись на перекрестке четырех улиц, названных именами мертвых людей, и шпарить по прямой, вкривь и вкось, налево и направо; на первых порах было странно ощущать отсутствие наших теней на тротуарах, наших отражений в блестящих поверхностях и других примет недавно минувшего, становилось неловко за мир, разучившийся повторять, было странно и отсутствие взглядов, голодных и холодных, колючих и ласковых, будто резко отключили свет, и ты, незримый для собеседника, ждешь ответа, а он, секунду помешкав, переводит внимание на нечто безусловно реальное — танцы окуней в садке, щетину рыбаков, прибрежную гальку, — и не скажешь по его невозмутимому виду, что мы когда-то существовали; полную невоз-

мутимость сохраняли и остальные невольные свидетели нашего когдатощего бытия, кучьи кусты вдоль дороги, ручей, смятая пачка папирос, мокрая скамейка, мокрая болонка, дождь, квадраты окон, стеклянные витрины, предприимчивые таксисты, хмурые прохожие, травинки, песчинки, сорок тысяч лет назад они помнили наши прикосновения, структуры наших перемещений, голоса и вибрации, запахи и формы, а ныне сохраняют каменное молчание, придурковатое замешательство; в тотальном забвении кроется определенная прелесть, недоступная тем, кого помнят, или живущим: никогда не быть и при этом все-таки вскользь, краешком быть, украдкой подглядеть чужой сон, сонм цветных огней; на первых порах мы двигались неуверенно, шаря белесыми лохмами, словно слепцы, мы двигались спотыкливо, не решаясь оторваться от земли, мы еще помнили прочность асфальта и неуклонность привычных маршрутов, посредничество дорожных знаков и непостоянство природных стихий, мы смутно боялись дворовых псов, неустановленных гражданок и подвыпивших молодых людей, нас тянуло домой, в детские комнаты, на площадки, в классы, в огороды и палисадники, нас влекли запахи и вещи, и мы не могли отказать себе в удовольствии проникать и проникать; спустя недели или годы прежние связи с миром ослабели, и нас уже ничего не удерживало от того, чтобы не рухнуть и не хлынуть на все четыре стороны, и сначала мы взлетели над домами и лужайками, над лужами и парками, над шпильями, над птицами, над пестрой вереницей горожан и автомобилей, затем ринулись на восток и север, запад и юг, мы пролетали над озерами, речушками, океанами, над несметными лесами и оснеженными горами, над бедными деревнями и крупными мегаполисами, мы пролетали Париж и Пекин, Таллин и Лиссабон, парили над пальмами Африки и льдами Антарктики, за пару тысяч лет изучили земной шар вдоль и поперек, и, отчаянно заскучав, рванулись к звездам, и по мере того, как уменьшалась Земля, расширялся космос, и вскоре черное пространство поглотило все, и твердые тела казались в нем густыми каплями масла в бес-

крайнем океане, медленно поднимаясь, мы с детским удивлением ощущали мир — перед нами раздвигалась гигантская панорама планет и явлений: мелькнула ноздреватая Луна и сразу пропала, проплыл угрюмый Марс и горячая Венера, сквозь нашу эфирную плоть заструилась россыпь астероидов, через тридцать лет поблизости пронесся мрачный метеорит, через девять веков — рядом скользнула комета; когда мы преодолели пределы солнечной системы, земные воспоминания в нас успели основательно забыться, затем и вовсе пропали, будучи вытеснены свежими впечатлениями: мы следили за тем, как вспыхивают новые солнца, как потухают старые, мы видели рассеянные галактики, алмазные планеты, небесные тела с сотней маленьких лун, космическую пыль, газовые облака, и чем дальше уходили в глубины реальности, тем диковинней становилось окружение, мы чувствовали гравитационные волны, текли мимо ярких квазаров, видели корональные дыры, магнитные бури, и продолжали исследовать расширяющуюся пустоту, и через неопределенное, немислимое количество лет приблизились к границе вселенной — это была сплошная твердая поверхность, мы долго летели вдоль нее, пока не поняли, что она простирается бесконечно, и надвинулись вплотную, наблюдая строение стены — шершавость, складчатость, мелкоструктурность, — перед нами будто окаменевшая губка или засохший мох, и почти тотчас обнаружили немногочисленные отверстия, куда можно просочиться, — кто бы не загорелся желанием попасть по ту сторону вселенной, — мы набрались храбрости, изменили форму, сжалились, съезжились, и юркнули, и почти перебрались на другую сторону — перед нами мелькнули пузырьки, стайкой проплыли вдалеке пятнистые рыбешки и скрылись в водорослях, но что-то не пускало, держало, мешало полностью перейти, я рванулся, еще и еще раз рванулся, услышал, как трещит мой выдавший виды пиджак, и поостерегся дальше прорываться, неужто зацепился за гвоздь, и как теперь быть, если — гвоздь, если — не успею спрятаться,

они уже в подъезде, их много, стучат, повышают голоса, требуют немедленно открыть, чего я делать, конечно, не собираюсь, мне, господа хорошие и рабы дурные, дорога жизнь, я, как все зайцы, испытываю отвращение к охотникам с двустволками, на гнедых рысаках они бороздят весенние леса и, едва начинают гон, пускают псов, несдобровать тебе, Маша, говорила мама, и точно — мне было несдобровать — я неспешно прогуливалась по двору, отрешившись от реальности, и кто-то с десятого этажа, а то с самой крыши, кричал — вернись, забыла покормить канареек, и нужно вернуться, и птицы смиренно ждут, однако вернуться не получалось, потому что ноги несли к облупленной скамейке, на которой сидел молодой человек, и покуривал, и философски размышлял о том, о сем, особое внимание уделял деревьям, вот, размышлял, люди губят деревья, а они все равно растут, растут и растут, и куда растут, и зачем, неужели до облаков дотянуться хотят, думал этот мужчина, и в голове сами собой рождались поэтические строки о том, о сем, об озеленении и конце человечества, впрочем, поэзия — очевидное баловство, есть дела поважнее, нужно убежать, вот сейчас высунусь из кустов и задам стрекача, пока они чистят двустволки и глядят гончих, среди них наверняка есть специально обученный человек, умеющий снимать меховые шкуры с еще живых зайцев или куниц, он азартный торгаш и на рынке первый кричит — не проходи мимо, ай-вай, какие шкурки, дешево отдам, и если сторговаться с ним на большую партию пушистого товара, может принести до дверей, зайдет в подъезд, топая сапожищами, и застучит — кто, дескать, дома, — а ты не открывай, мама велела никого не пускать, придумай пустяшный предлог, скажись больным, уйди с головой под одеяло, а лучше улепетни, потому что продолжает назойливо барабанить и бормотать, ничего не разобрать в быстрых полубезумных словах, так и хочется остановиться, попросить прикурить, прислонился к стене — и вот, значит, вершины деревьев шелестят и навевают воспомина-

ния, средняя часть, впрочем, тоже шелестит, но воспоминаний отчего-то не навевают, скорей — тоску, а нижняя, самая куцая — напоминает о детстве, да-да, я тоже был ребенком, не таким умным, как Декарт, и все-таки умным невероятно, я родился и полюбил мать, жизнь, природу и мир, я ходил в ясли, говорит наш мемуарист, и однозначно лукавит — никаких яслей он не посещал, ибо не было у мальчика ни рук ни ног, ни головы, ничего не было, он висел бесформенной серой материей в углу школьной доски, и отдельные прозорливцы, то бишь первые ученики, замечали странное, морщились, неприлично тыкали пальцами, но накатывала лень, было сложно подняться и разобраться, остальные во всеуслышание заявляли, что там испокон веков висит половая тряпка, закинутая неким шутником из десятого, и суетливый, невысокий человек — учитель математики — ворвался в класс; он держал кипу тетрадей и принялся раздавать, небрежно кидая на парты трючные работы и аккуратно кладя отличные; долго прицеливался глазами, прежде чем вызвать кого-нибудь, и едва наметил жертву, обратил внимание на странных учеников перед ним — два мальчика и три девочки каким-то образом умудрились расположиться за одной партой и даже — взглянул сбоку, — на одном стуле, что противоречило законам здравого смысла, необходимо сейчас же разобраться, ситуация пренеприятная, встать! возопил человек, голос дрожал от негодования, но никто почему-то не встал, словно его и не было, ученики продолжали шушукаться, играть в телефонах, а наглейший прогуливался между рядами, педагог из меня, сами понимаете, аховый, зато ладони имею массивные и, предвкушая массовое отвешивание подзатыльников, стал подступать и вдруг вспомнил о супе, уходя из дома, забыл выключить — мясо переварится, бульон выкипит, а то пожар начнется и мир качнется, а то — схватился за голову и опрометью бросился к входным, но там долбился и злился директор, очевидно есть что сказать, раз так категорически шуршит и рвется, зажал уши, не хочу слышать приказной тон, и заметался — открыть нельзя, неизвестно, что у него на уме, но попасть

в квартиру необходимо — повернуть вентиль, и я воспользовался окном, благо, занятия на первом этаже, улизнул и — вдоль кустов, дома ждет красавица жена, первостатейный обед, детишки опять-таки в неглиже суетятся над нелепой детской постройкой, что же вы строите, охламоны, и я сунул палец, неглубоко, но достаточно, чтобы ощутить резкую боль, меня обожгло, в плече засвербило, на вашего раба уставились два надменных отпрыска, причем старший ладонями прикрывал чертову конструкцию, и я не мог как следует рассмотреть (зубчатые башни и песчаные блоки?), лишь испытывал боль, которая накатывала волнами и тут же отпускала, чтобы снова накатить, палец завяз в конструкции по среднюю фалангу, ни туда, как говорится, ни сюда, предательски торчали уши — по ним и вычислили, дали предупредительный и с веселым гиканьем ринулись в погоню, я с колотящимся сердцем выбежал в переулок, прислушался: мальчишек не слышно, значит, повернули в иную сторону, у меня есть несколько минут, чтобы как следует спрятаться; недалекие личности считают детство чудесной порой, но у него немало недостатков; коли поймают — несдобровать, обещали устроить темную, показать, где раки зимуют, намылить шею и спустить шкуру; спрятаться негде — город оцеплен, краснорожие фашисты ухмыляются на каждом углу; я покажу фокус-покус, сальто-мортале, исполню трюк невероятной простоты — вернусь во двор и, сделав вид, будто так и должно быть, стану неспешно прогуливаться взад и вперед возле подъезда; на последнем этаже охламоны в неглиже, — так, стихотворствуя, он гулял, и никому в голову не могло прийти и взять его, — искали в смежной области, в столице, в карстовых пещерах, на Аляске, за дальним рубежом, интересовались у пигмеев новой Зеландии (карлики, к слову, были поглощены поеданием жареной зайчатины и не отвечали), особо усердствовал директор, в пламенных речах напирая на то, что пропал незаменимый член коллектива, честный труженик, педагог выдающихся способностей улепетывал со всех ног, звонкие мальчишечьи голоса однако приближались, пришлось забежать в подъезд

и захлопнуть за собой — и тут же заколотили, завопили: нечестно! а он, не чуя, как сказано, ног, поднимался выше, покамест не обнаружил: выше некуда, — в отчаянии — на хлипкую лестницу и шмыгнул на чердак; беспорядочно возлежали старые вещи — сломанные лыжи, пустые птичьи клетки, сорванные краны, — с лязгом и грохотом промчался по ним, нырнул в узкое окошко и зашлепал по крыше (политая гудроном, как взлетная полоса аэродрома, она тянется так далеко, что сто марафонцев не достигнут края, а лучший королевский скороход на бегу состарится), его ждал белый пассажирский лайнер со всеми удобствами; мальчик, закричала стюардесса, сюда! и я, не смея ослушаться, тихой сапой проник на борт; рядом сидела миловидная китаянка; перед нами — шумное семейство: два мальчика, три девочки; парни поминутно шушукались, ругались, дергали сестер за волосы, а на огромном экране вот-вот начнется кино, — требовалось срочно стреножить охламонов, и я обратился к мамаше; она, видимо, была глуховата, глубоко погружена в собственные фантазии или просто дура, поскольку на мои замечания, произнесенные то шепотом, то вполголоса, то, наконец, криком, не реагировала, а став отвечать, роняла не относящиеся к делу выражения, белиберду случайных мыслей, окрошку невнятных слогов; отроки, впрочем, моментально успокоились, едва по полотну поползли титры; фильм, видимо, шел авангардный, потому что титры не закончились и через полчаса; я клевал носом, зато остальные внимательно смотрели и возбужденно обсуждали; вдруг сонливость как рукой сняло — после аршинного списка иностранных фамилий начался перечень русских, и вполне узнаваемых, будто даже каким-то образом связанных с вашим покладистым рабом — ФИО учеников, преподавательского состава, особенно часто повторялась фамилия директора, написанная то жирным шрифтом, то наклонным, то витиеватым, то строгим; то сбоку полотна, то снизу, то сверху, то мало-заметной точкой вспыхивала в центре, словно некие силы предупреждали: опасность! я смутно догадывался, что от директора можно ожидать всего, вплоть до увольнения или

вызова родителей в школу, посему принял решение удрать; несмотря на то, что было неудобно портить зрителям удовольствие, сделал попытку подняться, и тут же, охнув, опустился — локоть свело от боли, наверно, заноза от старого расшатанного кресла впи-лась, пока пялился на экран, а то — совсем неприятно: гвоздь; пиджак придется выбросить, не ходить же с заплатой, буднично размышлял он, не подозревая, что в будке киномеханика сидит директор, subtilный, потный, прибывший с санитарной инспекцией, и в стенную лунку сурово глядит на учителя, как бы желая убедиться, что у оного не протекает кран, а киномеханик со всего размаха рубит кровавую тушу дикого животного, причем замахивается не из-за спины, а со стороны, — потолки низкие; если брызги крови остановить в полете, они будут похожи на перья, листья тропических деревьев, фракталы, блестящую россыпь драгоценных камней; делается все больше остановленных брызг, и уже трудно дышать — запах крови острый и сильный, всплески твердые, приходится наклоняться, изгибаться, перемещаться карморой, каракатицей, — и дверь не различить, и как бы под подлый топор не угодить; шагай по перьям, по листьям — и непременно куда-нибудь выбредешь, произносит мама; осторожно шагаю и падаю на пол; зрители шикают и топают, цыганка пытается закрыть мне шалью глаза, но я мотаю головой — дескать, и так темно, и приятели навалились, делают темную, хохочут, — как на моем месте поступил бы взрослый мужчина, солидный, опытный, уверенный в себе, как? Ворвался в будку, учинил скандал? Написал разгромную статью в газету? Лично наказал охломонов? Уволил провинившегося педагога? Стегнул нагайкой негодную псину? И та стрелой умчалась в сырые заросли, облитые розовым утренним солнцем, и все блестело, даже кокарды у моих спутников, и усы у проводника, который то и дело порывался сбежать, потому что ощущал незримую угрозу, а нам хоть бы хны, мы любовались и развлекались, покамест он барахтался в темноте, звал мамочку и пытался вырваться, ничего, шепнул мне на ухо неизвестный, скоро кино кончится

и настанут удалые деньки, запоют пташки, вылезут букашки, поползут мурашки, и вот город кипит, бурлит, грохочет, кроны шелестят, студентки, румяные, веселые бегут, бежишь и ты, лохматый, давно не бритый, в нелепых обносках, поклонник античных киников, приверженец рационального образа мышления и злейший враг любой религии; все вокруг любопытно, все представляет чрезвычайный интерес; например, марафонцы, — что побудило вас пробудиться на рассвете и бежать сломя голову; замерли автомобили, замерли и прохожие; поначалу трусил одинокий спортсмен в красных трусиках, но уже тогда горожане кричали «ура!» и снимали шапки, восторгаясь способностью трусить, не будучи трусом; проходили годы; на каждом перекрестке к нему присоединялись граждане в красных трусиках, и вот уже толпа здоровых лбов бесстрашно несется по асфальту; догнать их нет никакой возможности, — равносильно превращению в гонимого пса; сколько? понятия не имею, — тысяча, миллион, — мельтешат, мелькают, надвигаются размазанными кусками одежды, разорванным пространством, искаженными формами, и топот, и тяжелое дыхание, и посторонние звуки, — всё словно приносится издалека и хаотично вплетается в общую картину, и я, в эпицентре грохота и мерцания, не могу различить, по вертикали бегут или по горизонтали, боком или спиной, заполняя области видимого, оставляя кривые прорези просветов: клочок голубого неба, серую лужу, корявое сочетание ветки и вывески; малейшее перемещение вашего большого раба изменяет сцепление теней спортсменов и световых пятен; делаю калейдоскопом; мир кружится и трепещет; задыхаюсь, но продолжаю бежать, до финиша недалеко, у меня приличные шансы попасть в десятку; алеют флажки, неразборчиво скандирует толпа, напряжен тренер, и тут краем глаза замечаю картинку из криминальной хроники: незадачливый воришка украл шаль и улепетывает вдоль торговых рядов, за ним — раззадоренный народ — гопники, цыганка, господин в пиджаке; вор ловко уворачивается от протянутых рук, карабкается на прилавки, давит головы манекенам, лезет по шубам,

валится в грудку товара, барахтается, выныривает, и продолжает побег, безнадежный, в сущности, потому что преследователи взяли меня в кольцо, свирепо улюлюкают, трясут копытами, сейчас бросятся, и не помогут обереги и наговоры, и не спасут утреющие звезды; к счастью, вспоминаю: забыл выключить чайник, — и озабоченно иду в направлении дома; куда бы ни пошел — везде мгла, выколи глаз, погаси свет, двигаюсь наощупь возле шершавой стены, бесконечной как бесстыдство; с веселым визгом охломоны отпирают засов, в меня вонзаются солнечные лучи, не решаюсь выйти, стою на пороге, сжимаю кулаки; растет желание курить, скучающий мужчина дымит у подъезда, у тебя спина белая, вот так, допустим, невзначай разговоришься с незнакомцем, поведаешь свои печали, пристрастия, сокровенные тайны, выложишь подноготную, а он окажется образованным человеком, педагогом, стаж у меня без малого сорок лет, ученики ценят за чуткое сердце и обостренное чувство справедливости, а коллеги, коллеги отнюдь — не ценят, отпускают шуточки про белую спину, учиняют мелкие пакости и ждут увольнения по собственному, увы, мне уходить не к спеху, педагогический долг повелевает закончить начатое, а конкретнее — разобраться с отстающими (три) и воспитать охломонов (два), причем первое — легкотня, тупые дети скоро встанут на путь знания, а дисциплина позорно прихрамывает, нарушения проявляются в виде возмутительной шуточки, достойной дешевого балагана, вообрази меня, хворого человека, который ранешенько прибыл, дабы поспешествовать, трамвайный дребезг еще отдается в ушах, и пламя рассвета, и влажная зелень, и ледок, — уйма впечатлений! уйди в ледок, обмозгуй структуру, пузырьки, процессы превращений, или коснись зелени пытливым мышлением, но нет — шум и гам, будто в купальне, и кто-то исподтишка разлил подсолнечное масло и зашептал на ухо (столь осторожно и вкрадчиво, что слова его принимаю за собственные): выключить, погасить, забывать, возвращаться; ну дела — сюда прибежал, а дома не порядок; команду: полный назад, и ускользаю, как мне кажется, споро

и проворно за двойные двери, киваю детским лицам, чопорным портретам на стенах, мельком пожимаю смуглую ладонь директора, и тут, господи, выясняется, что никуда я не продвинулся, ни на пядь, ни на миллиметр — топчусь на месте, масляные подошвы проскальзывают и становятся в исходное положение, а классные юмористы, открыв слюнявые рты, в немом восхищении наблюдают за кривляньями идиота; мелькает спасительная мысль: не упасть в грязь перед всеми и трансформировать бег в импровизированный танец, свидетельство весеннего настроения; чардаш, кадрили? моменту идеально соответствует лунная походка; медленно провожу по бобрику стриженных волос, словно по взбитому налакированному коку, резко откидываю голову и с пронзительным стоном кладу пальцы на пах, понимая, что такую свободу не ощущал никогда; тело приходит в танец, каждая мышца играет, из груди рвутся гортанные звуки, то кружусь, то извиваюсь и быстро перебираю ступнями, вскоре колебания мышц приобретают выборочный характер — затухают повсюду, а в икрах и кистях усиливаются, голень и предплечье превращаются в безумные аттракционы, разрываемые внутренней дрожью, буграми и складками, причем обнаруживается явственное соответствие и даже строгая координация между действиями той и второй стороны, они как бы общаются посредством напряжений и ослаблений, какую информацию передают телесные члены — неведомо, возможно, интересуются здоровьем, спрашивают, как матушка, как детишки, — и тут же ответ: старушка в добром здравии, ребятишки в школе; мало-помалу беседа хороших знакомых перетекает в словесную перепалку, в которой достается и мне, хотя я ничего предосудительного не сделала, просто сидела рядом на лавке и ждала удачного момента подобрать окурочку, и когда наконец ты ушел, закурила и отправилась бродить по двору, дым, впрочем, лез в глаза, был едковат, пеленой стелился впереди, и чем выдыхала обильнее, тем сильнее сгущалась пелена, таяли здания и небо; из тумана фрагментами выныривали прохожие, там бляшка, здесь — ручка от зонтика;

ориентир спутались, оком пропал; я застыла в серой пустоте, пятки вместе, носки врозь, наклоняемся вперед, касаемся колен, и — раз, и — два, главное, не допустить смещения позвонков, иначе разогнуться будет сложно, придется в такой скабрёзной позе ожидать прибытия медбратьев, товарищей, что говорить, серьезных и ответственных, но все-таки человеческое нам тоже не чуждо, и увидев неразогнутую, мы стали отпускать глупые шуточки про белую спину, подзадоривать друг дружку, пихать в направлении недееспособной гражданки, а там и вовсе на носилках потащили ее в ближайшую пересеченную местность, где издавна высился завод металлоизделий, ныне обветшал, часть построек развалились, угрюмые рабочие явно не понимали, что здесь делают, покуривали на бревнах и поплеывали на плоские морды ящериц, крупная зарплата абстрактной рыбиной плыла в облаках, начальники давно отчалили, и мы, соображая на двоих, приволокли тушу в безымянный цех, там, собственно, все и состоялось бы, однако я вспомнил: уходя, не погасил свет, — и ускоренно ретировался; товарищу было неловко наедине с неразогнутой дамой, смещение произвело в ней изменения значительные — она утратила всяческую способность к движению, только глаза встревоженно бегали, остро вперялись и опускались долу, давая мужчине понять, что положение безвыходное; дабы скоротать времечко с пользой, я перенес девушку на ложе гвоздильного станка и принялся примеряться — с какого бока подступить, и так и эдак выглядело весьма привлекательно; совесть взывала к разуму, разум отшучивался; ветер врывался в разбитые окна; ворвался и директор, помешав нашей идиллии, побагровев, посуровев, покачав кулачищем, я метнулся за улепетнувшим, да негодяя и след простыл, и поминай как звали, тем более ваша сволочь забыла выключить примус в каптерке, и вернулся ни с чем; проходя помещение пустое, пыльное и пронзенное светом в потолочные дыры, заметил уродливый гнутый гвоздь на станке, охламоны не успели сгрести в ящик или посчитали браком; смахнуть на пол? банально

для директорского чина, мне по должности требуется производить действия высшего эшелона; окуну в карман недоделку, — и действительно — окунул; дальнейшее пересказывать не имеет смысла, поэтому постараюсь не упустить ни малейшей подробности, именно в мелочах таится демон реального; вот, допустим, целлофановый пакет на газоне, царапина на кирпичном обломке, светящийся хвост пузатой рыбы, за который держусь, проплывая над руинами древних цивилизаций, еще несколько столетий назад тут пытали иноверцев и девственниц, толпы мужчин и женщин в набедренных повязках простирались ниц, взывая к жестокому богу, а ныне площадь заросла ракушками и водорослями; вот окаменевший лабиринт торговых рядов, в прежнюю эру он полнился бытовыми товарами, шерстяные шали в наличии вряд ли водились, но головные платки несомненно присутствовали в ассортименте; как мне еще тебя развеселить? хочешь, намалюю на носу красную точку, а щеки раскрашу белилами? она неотрывно смотрит вдаль — на бегунов, на воробьев, на гопников, ей определенно осточертело мое соседство, а куда я денусь — локоть прихватило плотно, если задергаюсь «танцующим Майклом Джексонном», то окончательно отпугну покупателей от прилавка, они и так осторожно застыли в сторонке, раздувают жабры и с опаской косятся, вернее, зарятся на товары первой необходимости — шали и перстни; дай им волю, набросятся и умыкнут, чем, собственно, и занимается сейчас один криминальный товарищ, подкравшийся с краю, прямо из-под носа умыкнул и как ни в чем не бывало уходит восвояси, я пригладил кок, стряхнул пылинки с пиджака и — за воров, небрежным взмахом руки мобилизуя оцепенелых продавцов, ничего не подозревающий правонарушитель спокойно шествует, и мы втихаря подкрадываемся, он даже затынул песню — настолько уверен в себе, даже облокотился на прилавок, вальяжно перебирает шали; даю сигнал приблизиться и нейтрализовать; мы ускоряемся, но, как в известной апории Зенона, приблизиться не можем, потому что не одни мы бежим, вор тоже вяло сдвигается и тем самым

хоть на миллиметр, а все же дальше от нас, в отчаянии призываю спутников мчаться быстрее, и вот дикими гепардовыми прыжками со всех углов наступаем, особенно стараюсь я, нельзя подвести тренера, он сидит на трибуне, величествен и зол, второе место у меня в кармане, однако впереди бегущий не столь далек, и силенок достаточно, нужно лишь поднажать, напрягаю икры, машу предплечьем, почти догоняю лидера и вдруг вспоминаю: забыл выключить суп, — сойти с дистанции означает оглушительный крах карьеры, тотальное разочарование испытает тренер, снисходительно похлопает по плечу и покинет нас, дабы найти дисциплинированного спортсмена, нельзя возвращаться, но и зажженную плиту оставить нельзя, и я всматриваюсь в спину лидера — что, если выключатель находится там; майка топорщится, красные трусики мелькают, и на мгновение — спасибо ветрам — получается подглядеть, удостовериться в истинности случайной догадки, между лопаток есть рычажок не больше двух миллиметров диаметром, коли удастся его щелкнуть, мое затруднение испарится, настигаю гепардовым прыжком, тянусь клацнуть, и дама из полумрака подает голос: молодой человек, уберите пакли от экрана! в испуге отшатываюсь, хватаюсь за подлокотники; спина мельтешит и маячит, майка то морщит, то расправляется — сушая мышца, — и увидеть на ней фильм проще пареной репы, достаточно иметь толику воображения — и завертелись бобины, поскакала черно-белая красotka сквозь пятна и помехи на рынок за шалью, а следом увязались темные личности, кино изначально немое, но в ключевой сцене отчетливо слышен звук, буквально спустя пять минут после пролога девушка наклоняется стряхнуть пылинки с колен или поправить стельку — и оглушительно хрустит позвоночник, героиня оказывается обездвижена посреди безлюдной улицы, в таком беспомощном состоянии обнаруживает ее протагонист, пардон, таксидермист, он уволокивает незнакомку в берлогу и пытается расправить конечности, к сожалению, старания не увенчиваются результатом, неразогнутая постоянно вываливается из кре-

сел и вообще не соответствует размерностям человеческого комфорта, тогда мужчина прибегает к крайнему средству и превращает неудобную кокетку в милое чучелко; увы, переборщил с центральным ингредиентом, девушка усохла сверх меры, вот она вдвое меньше себя прежней, вот вчетверо, вот и вдесятеро, ее можно засунуть в карман и щеголять по проспектам; исподволь трансформируется и тело — она не похожа на куколку из детской сказки, усыхают голова и плечи, руки за ненужностью прилипают к бокам и лишаются объема; опишем ее прозаически: гнутый гвоздь; сунув даму в карман, герой забывает про нее и живет полноценной жизнью, влюбляется, печет блины, переqualифицируется в плотника по наущению супруги, озабоченной низкой оплатой тяжелого труда чучельника, создает приличную мебель, которая пользовалась немалым спросом среди рыночных торговцев, спекулянты прямо-таки обожали ее, выстраивались в длинные очереди за новым столом, кусали губы, не получив вожденного, а получив — волокни к палаткам и укладывали товар; в один из бурных и деятельных вечеров герой, забывшись, использовал даму вместо потерянного гвоздика — пошарил в кармане, вынул, хлестким ударом расправил и вогнал в дерево, правда, не учел то обстоятельство, что шляпка отсутствовала, странный гвоздь был острым с обеих сторон и остался слегка торчать (неприятным сюрпризом, мелкой погрешностью); голос комментатора навязчиво бубнит над ухом, отодвигаюсь и морщусь, он продолжает рассказывать о перипетиях в фильме, будто мне интересно, будто сам не вижу; снова раздается хруст, на этот раз мягкий и вкрадчивый, поворачиваюсь и замечаю голое юное дерево, посредством ветра оно машет всеми ветками, точно прощается одновременно с сотней человек, во мне просыпается первобытный инстинкт, бегу, хватаюсь, карабкаюсь, — и уже возле вершины, толчок — и на другой пальме, пули не заденут, они не реагируют на запах, а собаки могут, ибо голодны и свирепы, я тоже голоден неимоверно, истощен до предельной степени и намерен вернуться и выключить проклятый суп, тут самое важное не привлекать

внимания, пройди с незаинтересованным видом, сорви цветок с красными лепестками (бегонию), посчитай количество оных, вздохни, улыбнись праздной даме, закури, и ежели пожелает передать скромный презент офицеру любопытной наружности, то поработай мальчиком на побегушках, чай, спина не переломится, — потреплет по волосам, выдохнет в лицо сизую струйку дыма, небрежно сунет незначительную безделушку; как величайшее сокровище сжимая пустячок — ключ или гвоздь, — ты отправишься выполнять поручение и через сорок тысяч лет прибудешь в нужное место, на тихую набережную, под ракитовую сень, мужчина недурной наружности, дыма и плюясь, замер у оградки, конечно, он доволен собой и жизнью, но все-таки чего-то ему не достает — возможно, ключика или гвоздика, поэтому на его физии нет-нет да и появится потерянное выражение, еще мгновение, и он будет осчастливлен, еще парсек, и подойдешь, сжимая, и осенит тебя: не покормил пса, животное надрывно воет в коридоре, срочно вернуться, и трамвай дребезжит, и по ошибке сел в чужой номер, увезет на кудыкину гору, и мыкайся, обреченный на ожидание, обрученный с ветром, обращенный в дорожную пыль, быть и небыль здесь сестры-близнецы, и клаксон надрывно воет, и надо идти назад, а ты — вперед, влево, а ты — вправо, и заносит в дебри, глухие дворики, детские площадки, самостоятельно выпутаться не способен и жадно шарить зрачками по окрестностям в поисках сердобольной бабульки, по причине весеннего солнцестояния, ввиду обильного дождя ли помощники попрятались и в окна наблюдают за тобой, нужно определить местоположение вора относительно двора, ты расположен посередине площадки, рядом с песочницей и ракетой, расстояние до девятиэтажки — двадцать метров, прыжком не получится, количество окон зашкаливает, из каждого сурово глядит бабулька, причем, кажется, одна и та же — оптический обман или хитрый фокус, основанный на отражении, — неведомо, они синхронно хмурятся, поднимают руки, чешут затылки, я недоволен, сердит, нажимаю на окна и вылушываю, как семечки, старух; усохшие рамы

глухо лопаются, стекла льются ручьем, и последняя бабка, которую не удастся выковырять, мрачно таращится из центра выпрошенного здания; я видел ее миллион раз, и с ходу не могу вспомнить — где, внезапно осеняет — в детстве, детство, детский, ребенок, в далекие, счастливые и блаженные годы моего босоногого и голоруккого детства я проживал в пыльной, тесной, душной квартире на тринадцатом этаже аляповатого произведения советского зодчества, я рос болезненным и слабым мальчиком, поэтому в оздоровительных целях меня на все лето отправляли в деревню к бабушке, любимый зеленый хутор располагался у черта на куличках, за тридевять земель, и кончалось два дня утомительной езды на поезде, прежде чем я, бледный и одурманенный непрерывной вибрацией, металлическим запахом и скудной пищей выпрастывался возле огромного пшеничного поля с налитыми колосьями, и каркало воронье, и с протяжным сигналом состав уплывал в меркнувшие дали, а я еще долго сидел на скамейке, прежде чем подняться, и, с трудом двигая ноги, будто от навалившейся усталости, брести вдоль дороги; редкие автомобили обдавали меня волнами горячего воздуха, редкие грибники приветствовали, интересуясь: не такой-то такойтовны ли я внук. Такой-то, отвечал. Или ничего не отвечал, щурил глаза на начинающее темнеть солнце и вытирал влажный лоб, и только спустя полчаса неторопливой ходьбы понимал, что со мной происходит — наваливалось блаженное, сладкое, золотое чувство, описанное в старинных книгах нежным словом «нега», и я, по прихоти неведомой воли обретая полную силу, во весь опор бежал и издавал радостные вопли при виде знакомых полян и полей, гнилых березок и муравейников, на дедовом поле я валился лицом в скирду сена и долго лежал, обоняя сырое, ни с чем не сравнимое... а дед уже ждал возле плетня, и легкая улыбка трогала его обычно хмуро поджатые губы.

Как я проводил дни? Как все деревенские мальчишки — купался, загорал, дрессировал лохматого пса, валялся с книгой в саду, валандался и бездельничал, и был обуреваем различными фантазиями.

Дед выстроил небольшой уютный домик, пять светлых комнат, не считая кладовых, длинный промозглый подвал и гулкий просторный чердак: туда залетали голуби, там жили летучие мыши.

По вечерам, когда полная луна выкатывалась на слоистом, дымчатом небосклоне, по приставной лестнице я забирался наверх, брал самодельную подзорную трубу и с наслаждением вглядывался в таинственные светящиеся небесные точки. Дед учил: Венера, созвездие Гончих Псов, Млечный путь. Но захватывали меня всего сильнее не эти древние имена, захватывало сознание огромной бездны, головокружительного пространства между мной и ярчайшей звездой.

В доме обитало немало живности. Черный сытый кот Василек с лоснистыми боками, зеленоглазый, злой, любитель пошипеть и полакомиться мышатиной. Как я боялся его! Юркие мыши раньше скреблись в углах и в стенах, шмыгали по балкам, обнаглели до такой степени, что показывались днем и могли запросто утащить со стола кусок черствого хлеба. Василек выступал несокрушимым стражем жилища, и ни один ворышка не миновал его крепких когтей. Со временем грызуны поняли, что делать здесь нечего, и количество их сильно поубавилось. Во двореке, в грубо сколоченной будке жил белый кудрявый пес Аркаша. Наверно, он был даже старше самого дедушки, добрый, вялый, слишком доверчивый. Породы дворовой, лохматости умеренной. Дед брал его с собой по грибы. Пес возвращался довольный, но шатался от усталости. К нему вечно прилипали репы, особенно к куцему хвосту, и когда я выдергивал, Аркаша распахивал пасть, вываливал красный трепещущий язык и от удовольствия прикрывал черные с поволокой глаза. Он находился в дружеских отношениях с упитанным поросенком Борькой и тощей бодливой козой Зиной. У меня с ними подружиться не получалось. Коза гонялась за мной по огородам, поросенок, напротив, испуганно убегал, стоило мне приблизиться к его загородке. Не привыкли к твоему запаху, объяснял дед.

Городской запах я искоренял бесконечным купанием. Речка в деревне небольшая,

чистая и теплая. Плавать в ней удивительно просто. Вода словно сама держала мое тщедушное тельце. На спор с местными я несколько раз пересекал ее поперек, нырял солдатиком и однажды достал со дна настоящую гильзу. Дед рассказал: в незапамятную эпоху здесь было кровавое побоище. Я был горд находкой, хранил в тайнике за огородами и никому не показывал, кроме Вовки.

Товарищей у меня появилось миллион, но лучший друг один — Вовка. Жил по соседству, в домике меньше и хлипче нашего. Был ниже меня на полголовы. Отчаянный враль и хвастун каких мало. В день нашей первой встречи он зачем-то сказал, что ему подарили летающий мопед и мы вечером промчимся с ветерком над лесами. Как я ждал конца дня! Тускло-багровый солнечный шар закатывался в темные прорехи, чтобы, вырываясь на миг, как из бадьи, окатить яркими лучами деревеньку — деда у окошка, поленницу с ящерками, жуками и слизняками, кривой частоккол, веселых девиц у колодца, — и окончательно увязнуть за необъятной зубчатой линией таежных лесов. И как горько я плакал!

И какой смешной эта маленькая печаль виделась через два дня, когда дед Вовки, коренастый, проворный старик с жилистыми, хваткими руками, взял нас на первую в моей жизни рыбалку. Главное, предупредил он, соблюдать спокойствие. Мы на цыпочках, с тревогой и с восторгом вглядываясь в безмятежную водную гладь, ходили около берега. Вовка не выдержал в какой-то момент, заорал: «Подсекай!» И дед, не шевельнув бровью, стегнул строптивного внука крапивой по ногам. Всю рыбу нам тогда распугать не удалось — полведра блестящих, красновато-сизых карасей принесли к обеду. Причем я смог поймать крошечную рыбку, а Вовку удача обошла стороной.

С того дня мы почти не расставались. Утром я забегал к нему в огород и колотил в ставни сучковатой палкой. Приятель отворял сонный, смурной и в недоумении пялился на меня, будто я докучное продолжение его сна. А потом, вспомнив вчерашний уговор, преображался и, на ходу натягивая шорты,

бежал в коридор, крикнуть деду: «Я скоро!» Но мы возвращались к вечеру, мокрые, грязные и счастливые...

Особенное, ни с чем не сравнимое удовольствие доставляли мне походы с дедом по ягоды. Он, бывалый лесник, знал, пожалуй, каждую тропку в огромной тайге, помнил названия диковинных трав и цветов, умел общаться со зверями. Дикие хищники не трогали его, а пугливые травоядные подходили близко и тянулись мордами к котомке, где он хранил лакомства. Рядом с ним я не боялся ничего. Лес преображался, раскрывая свои сокровища: вот пахучий багульник, от которого болит голова, вот съедобная кислица, вот хрустит серебристый ягель, а из этой огромной черной гусеницы, усыпанной желтыми пятнами, скоро произойдет бабочка с красивым именем мнемозина.

Перелески, где росли высокие, ростом со взрослого мужчину, лопухи, я не забуду никогда. Опутанные паутиной, усеянные росой, лопухи пробуждали во мне какое-то первобытное желание, я сгибал крепкие сочные стебли, наступая на них ногами в плетеных лапоточках, как на поверженных врагов.

Еще мне нравилось прикасаться к сухому морщинистому наросту на деревьях, тогда я не знал, что это не часть ствола, а гриб чага, полезный для хворого человека, незаменимый компонент дедовского фирменного кваса.

По дороге к болотцу я успевал вдоволь наесться черники, но именно там, на топкой, мягкой земле меня ждало самое большое упоение, доступное мальчишке, — желтоватая прохладная ягода морошка. Я срывал ее горстями, похожую на застывший янтарь, набивал щеки и карманы, а дед посмеивался: «Будет тебе, обжора! Живот скрутит». Но, что удивительно, живот у меня никогда не болел в деревне, да и другие болезни ко мне не прицеплялись, словно самый воздух там был целебен.

Последним летом у деда — мне исполнилось одиннадцать — я неожиданно влюбился, глупо, безрассудно и бессмысленно. Я не знал, что делать с моей любовью. Ее звали Верка, внучка дряхлого сторожа. Она была двумя годами старше и, конечно, не обраща-

ла внимания на лопухого охламона, и все мои неуклюжие попытки привлечь ее интерес оставались напрасными. Я приносил ей июньского жука, он мощно гудел, и топорщил крылья, и бился в стеклянной банке, и это вызывало у девочки исключительно страх, а не гордость за мою отвагу. Однажды я предложил ей моего воздушного змея, красавца с широким узорчатым голубоватым капюшоном, и она, испытав вялое любопытство, следила за тем, как змей медленно расправляется и взмывает в небо, и, взяв хрупкими смуглыми пальчиками веревочку, тянула его пару шагов, а затем с коротким смешком отпустила и, стоя полуоборотом ко мне, пробормотала: «какая я неловкая» и тут же с нажимом добавила: «все равно он дурацкий, дурацкий!» Часто моргая, с влажными веками, я смотрел, как мой дурацкий, мой любимый змей, подхваченный ветром, совершает кульбиты и уносится неведомо куда.

Тем же вечером я видел ее с Ваньком, сыном угрюмого хромого плотника, задиристым пятнадцатилетним пареньком, который ко мне питал лишь садистские интересы, — без всякой причины дергал за уши, бросал за шиворот шишки, — а с ней казался непривычно тихим и умиротворенным. Они прогуливались по берегу, пока я сидел за кустами и раздумывал, как отомстить Ваньку, вот сейчас брошусь, представлял я, толкну его в грудь, и он кубарем покатится по низкому склону, и жалкий, уничтоженный, окунется в речку, и мы с ней вдосталь насмеемся над ним. Из укрытия я вылез, когда стемнело. Парочка давно разошлась по избам. Я дрожал от холода и так остро ощущал собственное бессилие, свою незначительность в загадочной игре мироздания, что даже не мог плакать, только цепенел и едва дышал, и звезды шурились из-под облачной пелены.

Утро я провел, мастера самострел, нашел смолистую ветку, обстругал ее, примерялся, куда вбить гвоздь для резинки, и тут появилась Верка. На ней было красное платье в белый горошек. Она неожиданно остановилась рядом и стала спрашивать, что я делаю, я отвечал грубо и невпопад, мне совсем не хотелось ее видеть. Девочка была назойлива,

и я, не выдержав ее голоса, платья, странной близости, заворчал: «Ну что встала, вали к Ваньку». Помолчав, она сказала: «Мы поссорились», и после еще одной длинной паузы спросила: «Ты зачем шпионил?» От удивления, от смущения и стыда я не глядя махнул молотком и угодил себе по ногтю. Верка сорвала дорожник и завернула опухший палец. Полдня она провозилась со мной, охая и причитая, что это произошло из-за нее. Всю следующую неделю я — будто погрузился в беспробудный, счастливый сон — провел с нею, показывая все свои тайники, любимые места, открывая лесные секреты. На шоссе мы нашли одноглазого ежика и вернули его в лес, поближе к сородичам. Мы спускались к ручью, заросшему осокой, и гортань ломилась от ледяной воды. Мы прикормили старую белку с черными бусинками настоящих глаз. А потом Верка почему-то перестала приходить и снова появлялась в обществе непривычно серьезного Ваньки, и я сделал для себя грустный вывод: я для нее в силу неведомой тайны не интересен, и никакими белками и ежиками это не исправить. Открытие мне помогло: раз я не нужен, то и она не очень-то и нужна. Переключился на другие дела, и вскоре удалось выбросить из головы нелепую, непонятную девочку.

На закате дед находил занятие своим проворным, суетливым рукам — плел из сухих трав корзинку. Я учился у него этому мастерству и был горд, когда стало получаться. Он рассказывал мне о прошлой жизни, о своих предках, о дремучей тайге, о золоте, погребенном в болоте, о том, как люди проливали кровь из-за презренного металла, и я, прильнув к его плечу, жадно слушал увлекательные истории, и чем больше он рассказывал, тем горше делалось осознание того факта, что скоро придется уезжать. Каникулы подходили к концу. Яркие деньки сменились смурями. Воздух холодел. Часто на несколько часов мог зарядить дождь.

Моросило тем ранним утром, когда мы с дедом понуро брели к железнодорожной станции. Из будки глухо брехал, а то пускался в тоскливый вой Аркаша, и у меня отчего-то сжималось сердце, я смотрел вокруг, не

в силах насытиться простой, щемящей красотой — в молочных дымках тянулись нивы, бледные звезды уже таяли на сереющем небе, одинокая корова стояла на краю поля и задумчиво жевала траву. Мне не хотелось уезжать, а деду не хотелось расставаться, вот он и насвистывал, стараясь напускным весельем скрыть тяжесть на душе.

На платформе было безлюдно и тихо, только ветер изредка шелестел в кустах. Дед начал сбивчиво говорить — о матери, о природе, об исконных корнях, а потом махнул рукой и замолчал. Так мы и замерли друг напротив друга, и ощущение то ли разлуки, то ли неминуемой беды проникло в меня.

Поезд уже подходил, печальным звуком оглашая окрестности, из него высыпали румяные дети и нарядные дамы и, тараторя, споря о пустяках, удалились в сторону дачного кооператива. «Посидим на дорожку», предложил дед, «пять минут у нас еще есть». Я кивнул, мы присели на мокрую лавку. Дед вздохнул, а потом быстро спросил: «Ты ведь вернешься еще сюда... ко мне?» «Конечно, вернусь», с готовностью ответил я, «обещаю, что вернусь», и суровое лицо деда подобрело. Он кивнул и грустно улыбнулся чему-то своему. И затем поторопил меня: «Ну беги, а то опоздаешь», я попытался рывком вскочить и не смог сдвинуться с места, что-то цепко держало — заноза или гвоздь, я осмотрелся и убедился — локоть зацепился за гвоздь; постепенно стальной стержень всаживался глубже, точно снизу его тюкал невидимый молоточек; я присмирел и уставился на бабу, которая все еще сидела рядом, выражение на ее лице было брезгливое и презрительное, она подобрала поближе к себе цветные шали, чтобы я, не дай бог, не утянул хотя бы одну; а то иной прохиндей цап — и шасть; из вагонов, морщась от натуги, вылезли торговцы со столами на спинах, водрузили мебель на перроне, и стали распаковывать узелки с утварью — тарелками, чашками; откуда ни возьмись вырос здоровенный детина с кастрюлей и поварешкой и принялся наливать торговцам дымящийся суп; они благодарили и брались за еду, причем жевали так смачно, что хрустело и трещало на весь кинозал,

несмотря на то, что кино было черно-белое и немое; со страхом я вспомнил: не выключил конфорку, и ринулся на улицу, не помню, сколько бежал, полчаса или час; мой дом не появлялся, будто его перенесли или снесли, хотя по всем подсчетам должен был давно показаться вдали; если ускоришься, произнесла случайная прохожая, и побежишь так быстро, как никогда не бегал, то, может быть, попадешь домой; я последовал совету: ускорился, сильно качая локтями, и тотчас заметил впереди кусок стены моей панельки; неопровержимое доказательство того, что я на верном пути; я еще увеличил скорость, но кусок немедленно пропал, словно возникал лишь при определенной быстроте, и сколько ни пытался вернуть прежнее состояние — бесплодно; подумалось, дело не только в скорости, но и в локтях — положении, раскACHE, напряжении; заболтал ими свободнее, резче, и дом снова замаячил впереди; достигнуть его проще простого, уже материализовались знакомые скамейки, ракета, песок; ты проникаешь в подъезд, и кто-то из дворовой гоп-компании, спрятавшийся за дверями, кричит: «бу!»; ты вздрагиваешь, и сердце усиленно бьется, а тот, охламон, заходится в хохоте и улепетывает наверх, почему — наверх? мучительно думаешь, живет здесь или через крышу надеется скрыться, перевешивает второй вариант, и, дабы подстеречь и устроить темную, решаешь подождать возле другого подъезда, но, распахнув железные двери, попадаешь не на улицу, а в собственную квартиру; бешено визжит чайник, суп булькает и выливается на плиту, из водопроводных кранов хлещет вода, несмотря на полдень, горит люстра и зажжены настольные лампы; мне покойно, произносит персонаж и перекидывает ногу на ногу; фигура в пышном кресле со стороны кажется крошечной — сухонький старичок или не годам умный мальчик; в руках у товарища толстая книга — поваренная, ан нет, по философии; философия, особенно аналитическая, незаслуженно популярна в наши дни, если уж любомудрствовать — начинать нужно с Декарта и заканчивать им же, ибо тот, кто с блеском и основательно проведет феноменологическую редукцию, обяза-

тельно придет к последовательным выводам, которые с немислимой ясностью продемонстрируют нищету нашего разума перед таинственной игрой высших сил; сведя реальность к игольному ушку божества, он застрянет — локтем ли, головой — в оном отверстии, покорится, и даже найдет в своем неловком положении приятности, скажет: мне покойно, перекинет ногу на ногу, и уставится во двор, где водолаз и библиотекарь сойдутся в состязании «Кто кого пересвищет», водолаз свистит отменно, заливается соловьем, выводит дивные трели, но ничего не слышно, на нем шлем с иллюминатором: губы беззвучно кривятся, как в немом кино; библиотекарь свистеть не умеет и восполняет этот недостаток скрипом по различным поверхностям, проводит ключом по стеклу, гвоздем по бетону, подошвой по бесхозной шине; истощный визг тебя нервирует, нарочито включаешь телевизор, куришь на балконе, зажимаешь уши, настойчивый высокий звук как бы побуждает к чему-то, и понимаешь: снять чайник (свисток надрывается), распахиваешь окно и шаршишь в холодной сырой пустоте, хватаешь птицу и прячешься под прилавок от проливного дождя, столы установлены так, что образуется проход, как в детстве во время шумного застолья, ползу, разглядывая ленивые ноги покупателей, и замечаю: между нижними конечностями существует определенная иерархия, и ноги, стоящие неподвижно, обладают большим влиянием, нежели стремительные и маневренные, чьи беспорядочные, бестолковые движения придают застывшим монументальность, второстепенные иногда хаотично ускоряются, отчего главные застывают еще величественней, цепенеют еще невероятней, так и подмывает потрогать подошву черных ботинок и брючную ткань, но боязно; хочется на миг высунуться, крикнуть, показать язык — но боязно: если верхних половин не будет, я с ума сойду от страха, лепетала бледная, пробираясь между шубами и шальями, они аляповато свисали, по-своему формировали просветы, и мальчишки пронзительно свистели, поджидая в конце пути; о неподвижные ноги возле прилавка! как расшевелить вас, растолкать

и взбаламутить, чтобы хорошенько топнули и прогнали гопников, и сформировали иные просветы, где видны остальные прилавки, по-своему заполненные небрежно разложенной одеждой; напрямую ткнуть гвоздем опасно и чревато, лучше пробуравить прилавок, дабы человек невзначай напоролся и вышел из ступора; спроси меня какой-нибудь идиот — о чем эта повесть, я бы не задумываясь ответил: о том, как шуба свисает со стола, — затем наплел с три короба всякой ерунды, и наконец расхохотался, топнул, свистнул, замахнулся, в замешательстве собеседник кинулся или, скорее, ринулся, прочь и бежал до окраины, до темноты, до ледяного ветра и мурашек за пазухой, закрыв глаза и зажав уши; случайные прохожие нашептывали по цепочке его местонахождение; куда он мчался, однозначно неясно, известно, что в потемках налетел на дверь сарая или квартиры и застыл в неподвижности, не в силах пошевелить и мизинцем, ибо незаметное острие вошло в область локтя; мрачный шутник ли оставил торчать лезвие из замочной скважины, или за дверью притаился злоумышленник, дождался нужного момента — и протаранил, а то лютый волк вонзил клык — и застрял; сидя под лесным кустом, оплетенным абстрактными узорами паутины, загнанный, смертельно испуганный заяц прислушивался к малейшим шорохам; охотники были вне пределов досягаемости чувствительных сенсоров жертвы, но гончие псы не сдерживались от обуявшей их жажды крови и оглашали воздух яростным лаем, похожим на издевательский свист; косою вприпрыжку добрался до поляны и угодил в ловушку — тесную яму, утыканную кольями; ему повезло: острие зацепило лишь локоть, и я завозился, пытаюсь встать с кресла и выключить чертов чайник, резь в руке заставила опуститься назад, если не сумею образовать симбиотическую связь с болью, буду долго страдать, и так меня корежило и гнуло, и так выкручивало, что я понял: гвоздь вошел слишком глубоко, хотя его никто не звал, не ангажировал (так ошалевших гостей не зовут на следующий праздник), он вошел без спроса, без приглашения, не в смокинге, даже

не натянув бабочку, вошел, как входят в коммунальную кухню или в знакомую наизусть квартиру бывшей любовницы, и если сначала выдавал себя за добряка, то со временем злокозненные намерения выражались все явственней, он сделался в тягость, стал докучать, его присутствие превращалось в пытку, а выгнать нельзя, и тогда я засвистел, сам не понимая почему, может быть, это своеобразный способ симбиотического контакта с невыносимым; свист есть острая форма звука; от заточенного гвоздя возникает боль; и ты свистишь, стараясь превратить кончики губ в гвоздильный автомат, и как бы выдуть болезненно засевший в тебе предмет, но проблема усугубляется — от свиста гвоздь сильнее заострился и проник глубже, рассек сухожилия, нанес непоправимый урон сосудам и недвусмысленно подбирается к костям — в его плоской головке нет иных идей, кроме пенетрации, а в моей шевелится единственная — добежать до финиша, тренер неистово свистит, подгоняя, ленточка развеивается впереди, заманчиво колыхаются и дебелие груди хозяйки, она готовит пищу, пилит, крошит и шинкует, и нелегко тому, кто спрятался под кухонным столом, — ножки трясутся, ходят ходуном, скрипит ржавый кран, хлещет вода в раковину, смывая ошметки моркови, и поди ты разорвись, бормочет дама, вот и чайник закипает, и призрачной пеленой поднялся пар, когда наш герой, отчаянно хлопнув дверью, вылез на улицу; был март, стал апрель; капель докапала и обернулась банальной ни к селу ни к городу слякотью; на нем ладно скроенный костюм английского образца, под мышкой — книга с картинками, на макушке — котелок, ботинки начищены, казалось бы, до зеркального блеска и должны отразить мостовую и торговые ряды, ан нет, не до зеркального, мешают пылинки и соринки, и грязные разводы косо лепятся там и сям, разрезая надвое и натрое чудесные темные отражения, похожие на картины впечатлительных импрессионистов — знаю, каламбур дурной, но как иначе выразить то, что распирает меня нынче без всякой причины: нежность к оставленному, — обломкам кирпича, задубелым на ветру простыням, и крошечным

лункам, не сумевшим расширяться в лужи, и бесполезным отверстиям в столешнице, откуда глядит чей-то черный глаз, дружище, скажет некто неназванный, покамест хозяйка отвернулась или отошла, почисти ботинки, пообещает щедрю оплату и сунет ногу под прилавок; я бы не доверял свою обувь неизвестно кому, ведь и лица не разобрать, сквозь отверстия различаются отдельные части — клочок волос, оттопыренное ухо, а целое разваливается, как плохой сон или скудный обед; да и с какой стати ты решил, будто он обязан почистить, возьмет и плюнет; ребенок там или карлик — тоже вопрос не последней важности, дети под прилавками не шастают (превалирует страх наказания), а проницательный уродец способен забраться и нахимичить, подготовить подлость, соорудить гадость, и все ради пошленького смешка, удовлетворения своих неизменно низменных побуждений; проникнуть, впрочем, может и взрослый, аутист или психически больной, вззирающий на мир сквозь призму искаженного сознания; не то — манекен случайно завалиться, и в щели увидишь клочок, заметишь глаз, деваться некуда — придется идентифицировать с живыми и бояться, бывает и так, что в дырочки, если злоупотреблять пристальным смотрением в них, а мы злоупотребляем, видны отдаленные фрагменты блошиного рынка — колени, локти, полы пальто, птичьи клювы, котелки и шали, и по отдельности они ничто, а совокупно собираются в единое существо, чрезвычайно мерзопакостное и способное на дурные поступки, казалось бы — посмеялись, ничего страшного, но последствия шалости будем разгребать годами, и отцы посуровеют, и отцы отцов воскликнут: жалости! и под кривым углом пронесется кривая птица над болотом, и зацветет голубенький цветок, и я скажу тебе: если страшишься явить миру, то дай мне ее ощупать, конструкцию, которую ты кропотливо строишь под прилавком, вообрази — этот слепой, и пригласи вниз ладонью, в интимное путешествие от влажного фундамента до податливой вершины, так тщательно учитель ощупывает старшеклассницу, заподозренную в курении, или бабушка — внука, укушенно-

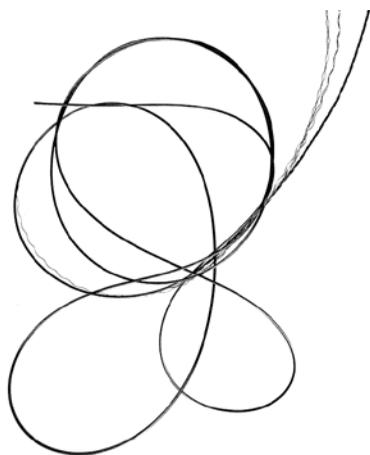
го клещом, так, втемную называя приметы и предметы, мы учимся жить, мы познаем мир, а он познает нас; с ходу палец втыкается в мягкую форму, и произносим: песок и вода в основании, как было изначально и произойдет; вдоль пирамиды, возникнув из воды, голыми ступнями следуют женщины — старая, зрелая, и несколько молодых; из песка выходят мужчины и мальчики и движутся над дамами по прослойке из пара, на них существо поместило гигантский ключ, он тоже нелепо завис, и тем удивительней, что держит на себе покосившуюся кабину лифта, из нее выглядывает цыганка, взирает наверх, где застыл, улепетывая от кого-то, санинспектор, под мышкой — папка бумаг, над ним вхолостую со скрипом прокручивается водопроводный кран; на этом элементе домашней техники балансирует водолаз — растопырил руки; судя по лицу в мутном иллюминаторе, продолжает кривить губы: свистеть; дальше песок и песок, обломки кирпичей, снова санинспекторы, наваленные кое-как, наобум, и опять краны, ржавые, потекшие, гнутые и новенькие; и книги, с картинками и без; и клетки без жилищ и с канарейками; и Декарт в фартуке мясника; три девочки, два мальчика и пенсионерка изюминами воткнуты в гору злокозненного хаоса, чью цель нам предстоит исследовать в этой монографии, дорогой читатель, любитель горяченького и солененького, потерпи — закипает, и я бы, дай мне волю и власть, поместил зайцев и туземцев-пигмеев в сердцевину структуры, тут и сям натыкал кораллы, с мясом оторванные рукава, и коли появятся лунки — ничего, пусть, его ничем не испортить; объект небольшой — полтора метра вверх, и чем выше — тем уже, и чем уже, тем однородней; состав прост, как сказала бы кухарка кухарке: вода, то-сё, но главный ингредиент оставлю в секрете, чтобы не сперли воры и не побежали, сверкая пятками, от справедливого возмездия, а впрочем — скажу, огорошу, хотя ты уже сама догадалась, милочка, это — гвоздик; не относится к кулинарии, думают несведущие люди, на самом деле — он альфа и омега любого изысканного или простецкого блюда, сварив бульон — положи в кастрюлю гвоздик, испеки

торт — и гвоздик сверху, сваргань бутерброд и укрась гвоздиком; гвоздь впивается, и убивается голод, и ты скользишь на голом льду, они скандируют твою фамилию, и тренер свистит, и бабульки из породы торгашей сдвигают столы у линии, дабы предложить марафонцам интересные вещички, шали и бусы, ты хватаешь бусы и — в кучу, чтобы росла и пухла, она достославная, с любовью оглядывает мать свое творение, остался последний штрих, но куда же пришпандорить — гора достала до столешницы, прижалась вплотную, инструкции нет и схемы, пришлось в три погибели изгибаться и прикладывать силу, и колыhalось и осыпалось, и сверкало, и гвоздь пристроился на вершине, плотно притиснутой к прилавку, так плотно, что пробил дерево и вышел наружи в тот самый момент, когда марафонец под одобрительные клики

преодоле ленточку и, не сдержав инерцию, налетел на прилавок локтем; гвоздь вошел — но можем ли мы назвать гвоздем темечко бледной матери, подпрыгнувшей от страха в тот момент, когда внезапно засвистел тренер; пробила крышку стола, и воткнулась в локоть головой, удар был сильным, кишки в локте разорвались, и мозги лопнули, и другие органы, наваленные без системы, испытывали сокрушительное воздействие — почки и печень накрылись медным тазом, селезенка и легкие потерпели крах, сердце пыталось улизнуть на глубину, мощным тараном было раздавлено и прекратило сокращаться; мужчина рухнул, придавливая, прокручивая, как ключ, и вырывая гнутую узкую дамскую голову из щели, и все истошней свистел чайник, но некому было выключить, потому что никого не осталось.

Юлия Подлубнова

Сознание плюс неврастения



Это похоже на белую
белую Пермь жуть.
Свалка музеев
на берегу реки.
Раненых птиц,
сумасшедших мостов.
Где утколось?
Где сверкающий МиГ?

Кто живет под кожей реки?

Узнаю городские какбудтости:
за каждым домом
каждый дом,
человек спрятан внутри человека.
нет никого, кто бы сказал: «Люблю».
Человек есть сознание
плюс неврастения.
Лифт ползет по горлу небоскреба.
Кто прилепил на стену выключатель?
Капли лапочек — весна.

в феврале не цветет мнемоза
кровь сворачивается на морозе

антитеррористический паспорт
схема метро варикозна

ты отравленный телевизор
ты навальный аврал подснежник

круговая порука-понога

битые пиксели снега
сытые вексели смерти

Рыба обернута жабрами.
Зло наказуемо злом.
Агендер звучит как агент
(подразумевается: иностранный).
Люди, скажите «чииз»
вежливому гражданину
с фоторужьем.
По случаю дня защиты детей
колесо обозрения
взвешивает человечину.

Всякое наступление на
обозначает отступление от.
Одуванчиковые поля
ждут своих парашютистов.
Изо рва может вылезти
вьетнамский партизан,
заблудившийся под землей
и попавший в счастливое будущее
постсоветской России.

И кто там еще бродит по лесам
с рюкзаками, похожими
на обожравшиеся капюшоны?

Рваные пихоры,
рваные пихоры...

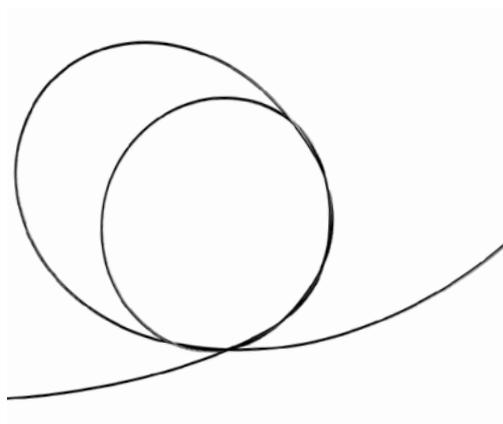
Ген генерала,
пыль патриарха,
пол полицейских,
бесконечная улыбка
надзирателя.
Комитет ежедневного
непроизвольного волеизъявления.
(Машины света и добра
утилизируют тебя.)

Попытки описать
бессодержательность гильз —
содержимое человека.
Или, к примеру, праздничные витрины
в годовщину Кровавого воскресенья.
Голубые глаза
продавщицы фарша.

Похоже, жизнь — это
дом как дым, сад — ты сам,
купленный на барахолке
черный глобус
(внутри окажется никто),
газета «За Магнитострой
литературы» в местной библиотеке.

Похоже, смерть — это
ромашки на станции Ебара-маши,
ласковые котики
Пиексямяки,
непроизнесенное
Лланвайрпуллгвингиллгогерихуирндробулллантисилиогогогох

Ирина Подюкова

Филемон и Бавкида

В городке был оркестр. Духовой. Прежде, когда танцевальная площадка располагалась отдельно от ДК, на высоком берегу реки, с центральной улицы к ней вела узкая тополевая аллея, призрачными и прозрачными северными июнями заметаемая нежнейшими из всех метелей на свете, под оркестр танцевали. Играл коллектив на парадах и в дни праздников, но самая главная задача была — торжественные похороны. Процессия двигалась медленно, золотом горели начищенные трубы, зайчики пробежали по сосредоточенным лицам музыкантов, усердно надувавших щёки, и обыватели на улицах частной застройки дружно высыпали к калиткам, издав издав заслышав скорбные рыдающие звуки. А детвора, что стряпала куличи или в жирной голубой глине ближайшей лужи вир-

туозно мастерила ботфорты выше загорелых коленок и мушкетерские перчатки по локти, бросала все жизнеутверждающие дела свои и в ужасе зажимала грязными ладошками уши.

Петя в оркестре играл на трубе и свой инструмент любил. Любил и просто так, и потому ещё, что Петю он кормил. Зарплата заводского токаря была не самая большая, а за игру платили отдельно. Такой заработок в городке называли в силу неведомого языкового казуса тюркским словом «калым». Калымы были регулярны, как и смерти уважаемых лиц, чей достойный путь к последнему земному приюту родне и сослуживцам представлялся исключительно в сопровождении духового оркестра.

У трубача Пети была красавица жена Аня. Он привёз её из Москвы, которая хоть и на-

ходила почти под боком, однако говорила на другом, отличном от округлого волжского, наречии. Аня, как синичка, по-московски «тценькала», «дзенькала» и акала. И за долгие годы так и не ассимилировалась. Но состав населения в городке был настолько пёстрым, что особенности речи здесь никого не удивляли. Была Аня из тех женщин, для которых экономный 20 век подходил мало, её монументальной красоте шли бы античные покрывала и тоги, тяжелые складки нескучно отмеренных тканей. А платьица выше колен хоть и открывали роскошные ноги, но выглядели неубедительно. Они были недостойны её красоты. Мужчин, правда, этот факт не смущал, их головы неизменно поворачивались вслед, как цветы за солнцем, однако вольностей допускать никто не осмеливался, Аня этого не любила.

Когда очередного усопшего с почестями предавали земле на заросшем густым березняком, дубками и рябинами тенистом городском кладбище, все имевшие касательство к событию по обычаю собирались за столами, помянуть. Музыкантам наливали щедро. И часто, часто Пете, которого природа наделила натурой тонкой и чувствительной, после пережитого и выпитого изменяли силы. Силы почему-то всегда оставляли его неожиданно и буквально в нескольких десятках метров от родного порога. Петя изнемогал и падал; когда дело случалось летом – в запылённые травы обочины, а зимой – в мягкие родимые сугробы возле тротуара. Сил хватало ровно на столько, чтобы унести непослушное тело подальше от шоссе, от оживленного транспортного движения. Заводская окраина этим фактом ничуть не была удивлена, ибо Петя в слабости своей был не одинок.

Буквально через несколько минут Аня уже знала о том, что Петя лежит и где его настигло.

А дальше нужно было решать, как транспортировать мужа домой. И стучала Аня к соседу и говорила:

– Вася, ПеЦя упал, пАмАги.

И Вася безропотно отрывался от футбола или хоккея – смотря по сезону – и шёл поднимать Петю. Святое дело. До любого доведись.

Закидывали они бессильные Петины руки себе на плечи и почти несли его, едва переступающего, эти несколько десятков метров. В пути случались потери. Словно вместе с хозяином ослабевал и ремень на худом Петинем животе, и тогда Аня, уже практически у порога, удивлённо говорила соседу Васе:

– Вася, а ПеЦя-тА без штанов... Вася, так на нём и сАпАжков-тА нет, да и нАсков... ПеЦя-тА Азяб!

И Вася, на собственной спине внеся страдальца в комнату и уложив на диван, возвращался собирать утраченные в ходе транспортировки предметы нехитрого соседского гардероба.

Бывало, если калымы вдруг выпадали уж слишком часто, уставала и Аня. И хоть была она натурой по-северному, по-русски уравновешенной, что-то, напоминавшее досаду, просыпалось вдруг в Анином любящем терпеливом сердце. Случалось, и сосед бывал на смене, когда Петю настигало в очередной раз. И тогда брала Аня, если дело по зиме, саночки, и шла за мужем одна. Приподняв и закатив тело, разворачивала санки, чтобы съехать с тротуара, – по обочине катить было куда легче, потому что в пору обильных снегопадов шоссейную дорогу чистили и прогребали грейдером. Петя, хоть и будучи в изнеможении, Анин маневр чутко улавливал, – чтобы выехать на дорогу, нужно было немного провезти санки в обратную от дома сторону, в сторону моста, ведущего из поселка. И тогда тревожно, слабым голосом окликал Петя с санок:

– Аня, ты куда меня везёшь?

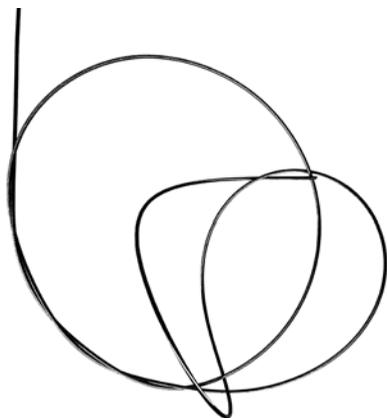
– Туда, ПеЦя, туда, – отвечала в сердцах ему Аня, – туда, Аткуда ты пришёл. ДАвезу вот сейчас дА кладбища и в снежку там тебя и прикАпаю – умаялась я.

– Аня, подумай, что ты говоришь? Я же живой! Я только играл, а потом выпил и немного устал. Опомнись, Аня, не надо меня на кладбище! Я домой хочу.

И смеялась Аня, и поворачивала санки в нужную сторону, чтобы отогрелся Петя в тепле родного дома, и окреп силами, и завтра с утра привычно пошёл на работу, и чтобы добрая жизнь текла дальше...

Даниил Емцев

От сердца к сердцу



Ad patrem

Отче, сходи к Марии. Она больна.
Пепел твоих грехов не даёт дышать.
Если она умрёт, то умрёт одна.
Разве такую смерть заслужила мать?

Отче, не падай духом: она слепа.
Ей не дано увидеть твоих путей.
Ты всемогущ, однако её стопа
Вязнет в грязи заботы её детей.

Я говорил? В квартире её бардак,
Моль обглодала стены, взялась за пол...
Ты – всемогущ? Не верю. Но если так,
Отче, сходи к Марии. Накрой на стол.

Дай ей поесть. Не нужно других чудес,
Раз уж помочь родным для тебя – тоска.
Прежде чем ты решишь не сойти с небес,
Вспомни о смерти, Отче. Она близка.

Эйфория

Если те, кто сейчас в моей голове,
Пришли навсегда,
Я готов отдать им её.
До того хорошо.

Они не заберут моей головы.
Они сплетут венок для неё.

Помни
 «Живи и помни».
 Забавно, да?
 Повесть такая.
 Смейся
 над глупой шуткой.
 Не надо мной.
 Я сам так смеюсь,
 когда
 семь лет спустя
 ночами бывает
 жутко.

Мне
 надоело
 помнить:
 удар под дых,
 горб на носу,
 затылок
 разбит о стену.
 Смех помогает мне
 не забыть о них.
 Хватит об этом.
 Смейся.
 Конец катрена.

Медиальный залог

Объятия
 в пустой комнате —
 смирительная рубашка.
 Не хочу расцеплять руки.
 Объятия давят на лёгкие.
 Сдавленное дыхание.
 Объятия
 в пустой комнате —
 раскачивание
 вперёд-назад.
 Убаюкивание
 самого себя.
 Объятия
 в пустой комнате —
 успокоительное.
 Я перестал кричать.
 Объятия
 в пустой комнате —
 размеренное дыхание.

Тепло закрытых век.
 Тепло ладоней на спине —
 собственных ладоней
 на собственной спине.
 Объятия
 в пустой комнате —
 Медиальный залог.

Сердцебиение

Другое.
 Ты хотел сказать
 Другое.
 Мозг не объяснит, почему сердце.
 Кто качает кровь?
 Кто укачивает кровь
 в колыбели
 сердца?
 Кто бьётся в утробе сердца?
 Зародыш
 Или лягушка в крови —
 в молоке?
 В материнском молоке?
 Кто не может уснуть?
 Мозг не может.
 Кто спит?
 Я сплю.
 Не хочу говорить про сны.
 Хочу сказать
 другое.
 Как звучит колыбельная сердцу?
 Кто поёт колыбельные сердцу?
 Как заставить сердце проснуться?
 Не нужно.
 Нужно
 другое.
 Колыбель сердца.
 Колыбельная крови.
 Кровь укачивает сердце.
 Сердце укачивает кровь.
 Кровь сворачивается
 в клубок
 и засыпает
 аорту
 тромбами.
 Спокойной ночи.
 Сладких снов.

Сердце бьётся изнутри.
 В мышечном мешке
 кошек
 нет.
 Там
 другое.
 Сердце бьётся
 в конвульсиях.
 Сердце качает кровь.
 Сердце раскачивает
 Кровь
 разгоняет
 прочь.
 Кровь выросла.
 Кровь отпускает сердце.
 Сердце пускает кровь
 По венам.
 По миру.
 Доброе утро.
 Хорошего дня.
 Все дороги ведут
 от сердца
 Все дороги ведут
 к сердцу.
 От сердца
 к сердцу
 От сердца
 к сердцу
 От сердца
 к сердцу
 От сердца
 к сердцу.
 От колыбели сердца
 До колыбельной сердцу.

Тошнота

Ненависть
 Нет
 Тошнота.

За отсутствием шумоизоляции
 Человек
 мягко шепчет
 неразборчивую фразу.

Музыку можно найти где угодно.
 Музыка рождается в голове.

Человек — изобретатель.
 Человек изобрёл одежду.
 Человек научился плавить железо.
 Человек сковал цепи.
 Человек научился курить сигареты.
 Человек — зверовод.
 Человек одомашнил животных.
 Человек надел обувь
 на каблуках.
 Человек взял цепь.
 Человек приковал к цепи самое слабое
 звено.

Живой музыкальный кулон.
 Человек решил узнать, как работает
 музыкальный кулон.

За неимением ключа
 человек
 завёл кулон
 каблуком.
 Кулон запел.
 Человек — исследователь.
 Человек разобрал музыкальный кулон.
 Человек испачкал каблук.
 Человек сломал музыкальный кулон.

Человек мягко шепчет
 неразборчивую фразу.

Бумага стерпит всё.
 Даже давление
 каблука на голову котёнка.
 А я не стерплю.

За отсутствием шумоизоляции
 кричать в бумагу — выход.

Туман

Туман.
 Двойная призма.
 Первая преломляет свет,
 забирает чёткость,
 пропускает через себя всё, что не способна
 видеть.

Амблиопичная призма.
 Вторая забирает цвет.

Отражает всё, что не видит первая.
Астигматическая призма.
Монокулярная проекция
на сетчатку закисших,
воспалённых конъюнктивитом глаз.

Том

Сегодня смотрел «Тома и Джерри».
Король запретил его будить.
Том наступил на гвоздь.
Сдержался.
Выбежал из замка — и там заорал.
Вокруг никого не было.
Забавный мультик.
Гвозди вбиваются в виски.
Головная боль — как зубы от сладкого.
Как будто челюсть
сжимает череп.
У меня в комнате есть:
книгхолодильникстолшкафраковинабатареядверьокно.
Нет звукоизоляции.
На этаже нет
незаселённых комнат.
Остаётся смотреть «Тома и Джерри»
и завидовать
кошке.

Семен Ваксман

Папа, это я



Предуведомление

Всю войну мама пыталась узнать о судьбе моего отца — Ваксмана Иегуды Шахновича, рядового 13-й дивизии московского народного ополчения, в августе 1941 года ставшей 140-й стрелковой дивизией 32-й армии Резервного фронта. Дивизия в начале октября держала оборону по Днепру, прикрывая дорогу, ведущую к Вязьме.

На мамины письма приходили секретки из Центрального бюро по персональному учету потерь личного состава действующей армии: «Сведений о местонахождении Ваксмана Иегуды Шахновича в настоящее время не имеется. В списках убитых, умерших от ран и пропавших без вести он не значится».

Даже в списках пропавших без вести он не значился! Пропал в развороченной снарядами земле, исчез в туманах, расстеленных по верховьям Днепра!

Только после войны в военкомате решили признать отца пропавшим без вести. Скорее всего, он погиб к западу от Вязьмы, на Богородицком поле — сейчас там Поле Памяти. Там полегла его дивизия, его 32-я армия и еще три армии — 19-я армия Западного фронта, 20-я и 24-я армия Резервного фронта. Маршал Жуков впервые осмелился назвать гигантский котел окружения не «оборонительной операцией советских войск», а страшным словом «катастрофа».

Полковник запаса войск стратегического назначения Лев Николаевич Лопуховский,

40 лет искавший следы своего погибшего отца, командира гаубичного полка РГК, так и назвал свою книгу — «Вяземская катастрофа». Я прикоснулся к этой страшной странице нашей истории, о которой стараются не вспоминать. Но именно на нее пришлось жизнь и смерть моего отца.

Александр Твардовский:

*А всего иного пуще
Не прожить наверняка —
Без чего? Без правды сущей,
Правды, прямо в душу бьющей,
Да была б она погуще,
Как бы ни была горька.*

С начала войны Гитлер не выступал на публике. 3 октября он заявил в Берлинском Спортпаласе: «Сегодня я могу совершенно определенно сказать: этот противник разгромлен и больше никогда не поднимется». Возможно, что он тянул с началом выступления до тех пор, пока ему не передали срочное сообщение штаба 3-й танковой группы: полковником Колем захвачены два важных моста на Днепре. Это открывало дорогу на Москву.

Лев Лопуховский сомневается: а в Москве знали ли о потере двух важных мостов через Днепр — в районе безвестных сел Глушково и Тиханово?

Через 81 час 35 минут, то есть через трое суток, 9 часов и 35 минут после начала операции «Тайфун» и прорыва обороны Западного и Резервного фронтов известия о «Тайфуне» дошли до Ставки Верховного Главнокомандующего. Там занимались больше Брянским фронтом, где командующий 2-й танковой группой Гудериан, «молниеносный Гейнц» броском в своем стиле захватил Орел, и немецкие танки загромыхали рядом с трамваями. Далее дорога вела на Тулу, Подольск и — Москву.

Вот так и получилось, что судьбу отцовской дивизии нельзя было понять, не изучив по дням положение на четырех фронтах, на дорогах, ведущих к Москве — Минском, Варшавском, Ленинградском, Волоколамском шоссе, дороге Орел — Тула — Москва.

Замысел операции «Тайфун» состоял в сжатии клещей по меридиану Вязьмы, создании чудовищного котла и уничтожении советских войск, защищающих Москву. С севера через Канютино, Холм-Жирковский на Вязьму шли танки 3-й группы «папаши» Гота, с юга по Варшавскому шоссе — 4-й группы генерала Гёпнера. Кто будет первым — Гот или Гёпнер?

Конеv приказал командарму-16 Рокоссовскому со штабным отрядом прибыть в Вязьму и принять командование оперативной группой для защиты Вязьмы с юга. Север прикрывать было нечем и нечем.

Войск, назначенных Рокоссовскому, в Вязьме не было. Более того, на выезде из города ЗИС-101 командарма был обстрелян немецким танком. Водитель успел свернуть в переулок. Немцам не удалось обстрелять машину прицельно. Нырнули в переулок — и вырвались из города, проскочили на свой КП.

Я пишу с начала до конца обо всех событиях на всех участках сражений. Это нужно для понимания всех сюжетов, в том числе сюжета о судьбе Рокоссовского и его штабного отряда. Только в этом случае возникает новое, эмерджентное (от английского emergent — «внезапно возникающее») свойство.

Важно, что немцы создание вяземского кольца окружения начали с юга, а северная часть города какое-то время оставалась свободной. Танки фельдмаршала Гота после прорыва нашей обороны на Днепре, продвигаясь к Вязьме, напоролась на боевое охранение 140-й дивизии возле деревни Городище. Разведка, высланная командиром 39-го полка Пискуновым в сторону Минского шоссе, доложила о движении по нему немецких мотоциклистов, легких танков и автомашин с пехотой. Вскоре появилась мотопехота врага. Завязался бой.

Военный комиссар 140-й дивизии Тарасов вспоминал:

«Когдадвигающиеся во главе колонны немецкие танки выехали на северную окраину деревни Городище, они свернули в сторону, замаскировавшись за домами. Идущие за ними 10 автомашин и 2 транспортера не заметили этого маневра и с ходу на дороге, наехав на минное поле, стали взрываться

одна за другой. Бойцы боевого охранения открыли огонь по пехоте. Немцы заторопились соскочить с машин и рассыпаться в цепь. Два бронетранспортера свернули с дороги и тоже подорвались, заехав на минное поле. Пехота немцев, сделав попытку залечь и отстреливаться, после нескольких залпов наших минометов и пушек отошла назад, ближе к деревне. Оттуда вышли немецкие танки. Но они остановились в отдалении, близко к горящим машинам и бронетранспортерам не подошли. А когда наши пушки стали бить по ним, то и они повернули назад».

Наступление немцев на этом участке возобновилось только после налета авиации и по прибытии пехоты и бронетранспортеров.

Вечером 6 октября ополченцы выиграли несколько часов драгоценного времени, которые позволили Рокоссовскому и его штабному отряду выбраться из осажденной Вязьмы. Так был изменен ход и даже, осмелюсь предположить, исход войны.

Ополченцы не знали и не могли знать того, что мы теперь знаем — они просто выполняли свою работу, как могли.

Роберт Рождественский как-то написал:

*Мы судьбою не заласканы.
Но когда придет гроза,
Мы возьмем судьбу за лацканы
И посмотрим ей в глаза.*

Что же происходило на Варшавском шоссе, по которому рвалась к Вязьме 4-я танковая группа генерала Гёпнера?

Утром капитан Старчак Иван Георгиевич, тот самый, что 22 июня подвернул ногу, совершая около Минска прыжок с парашютом, по обыкновению отсыпался на окраине города Юхнова в землянке на своей базе, «даче Старчака». Ночью он летал на запад, десантировал своих орлят в немецкий тыл.

— Товарищ капитан, проснитесь! Да проснитесь же, товарищ капитан! Полк улетает!

В отряде Старчака было 430 человек — готовых к прыжкам десантников, пограничников и ребят, прибывших на обучение по путевкам райкомов комсомола.

Разведка, которую Старчак выслал на запад, донесла: немецкие танки идут из Спас-Деменска по направлению к Юхнову. Из города уходили жители.

«Уходи, капитан, уходи и ребят своих уводи!» Но теперь Старчак сам себе отдавал приказы. Он знал, что останется здесь, в Юхнове, на реке Угре. Старчак собрал десантников. Он показал им железяку, сорванную плоскогубцами с дорожного столба: «205-й километр» — напрямую, как воробышки, летают. Речи не держал, просто показал скрученный указатель — вот сколько отсюда до Москвы. Старчак знал то, чего не знали его ребята — на Варшавском шоссе кроме них нет никого до самого Подольска, где есть мальчишки из военных училищ.

— Я остаюсь. Никого не держу. Хотите — оставайтесь со мной. Хотите — уходите. Всё.

9 октября, на пятые сутки непрерывных боев, капитан Старчак передал свои позиции на Варшавском шоссе подольским курсантам. Из 430 человек, оставшихся с капитаном Старчаком, в живых осталось 29. Они направлены в Москву, в штаб ВВС.

Старчак мертво спал. Его растолкали при въезде в затемненную зашторенную Москву, прикрытую сверху аэростатами. Многие ребята впервые видели столицу.

— Давай через Красную площадь, — сказал Старчак шоферу. — Да помедленнее.

Песня молодого композитора Давида Тухманова и ветерана войны поэта Владимира Харитоновна написана к тридцатилетию Победы. Она стала любимой в народе. Но одно слово в этой песне, на мой взгляд, очень неточно:

*День Победы, как он был от нас далек,
Как в костре потухшем таял уголек...*

Да не таял огонек! Не таял, а шаял!

Как в костре потухшем ш-ш-шаял уголек...

На Урале так говорят: шаять, шайть. В словаре Даля: «Уголье расшайло, разгорелось». В том-то и дело, что «в костре потухшем шаял уголек».

Иван Сергеевич Тургенев не побоялся ввести в Большой словарь живаго рускаго

языка великолепное орловское словечко «шуршать». В рассказе «Бежин луг» из «Записок охотника» сказано: «Камыши, точно раздвигаясь, «шуршали», как говорится у нас»...

Предлагаю вниманию читателей начало незаконченного документального романа.

*От города Холм-Жирковский
До самой станции Игоровская
Искал я следы отцовской
Дивизии – покореженной,
Кровавым вином напоенной,
Тринадцатой, непохороненной
И все-таки непокоренной.
И – повторение пройденного:
Под звуки трубы повиты,
Все –
Живые и мертвые,
Они сражались за Родину,
Прокляты и убиты.*

Глава первая. 1941 год. Лето и сентябрь

Они пришли в субботу вечером. Один звонил, другой стоял пролетом ниже, «по схеме». У нас в Перми они по одному не ходили, изображение на рукаве коловрата – якобы древнерусской свастики и восьмиконечной звезды – носить побаивались, побить могут. Они собирали подписи для выдвижения на выборы кандидата от РНЕ – «Русского национального единства».

– Вы заблуждаетесь. Мы не фашисты. Мы русские националисты. Мы считаем так: Россия для русских.

– То есть это вы, друзья сердешные, решаете: жить ли мне в моей родной стране или не жить?

В начале девяностых годов прошлого, двадцатого, века все столбы были залеплены их листовками – и на нашей Крохалевке, и на улице Куйбышева, где трамвай №5

летит вдоль бесконечных бетонных заборов оборонных заводов. А если идти по Хлебозаводской, то запах горячего хлеба приведет к корпусам сорок третьего года завода, который зовут по-разному – велосипедным, машзаводом, «Велтой», а кто постарше, и патефонным, и номерным, и заводом, где директор товарищ Баталин. Запах хлеба заплывает и на улицу Героев Хасана, незаметно переходящую в Сибирский тракт...

Теперь они оба стояли рядом со мной. Лица – детские, глаза – чистые. Крысолов ведет их к пропасти узкой тропинкой в полержи...

– Заходите, ребята. Я хочу прочитать вам одно письмецо...

– Вас как зовут-то?

Как-то познакомился я с альтистом Жоховым Анатолием Владимировичем – обаятельным интеллигентом старинного, уездного склада. «Есть блаженное слово – провинция, есть чудесное слово – уезд», – сказал поэт.

– Прошу прощения, как вас величают?

– Семен Ваксман. Как меня только ни звали – Баксман, Буксбаум, даже Максимов ...

– А по батюшке?

– По батюшке Ваксман Семен Иегудович. Произнести трудно, запомнить невозможно. На буровых помбурсы меня звали Семигудыч. Или Семен Мазутович...

Глаза Жохова заблестели:

– Ваксман Семен Иегудович... Ну что вы? Для меня это музыка. Записи Иегуди Менухина постоянно звучат в моем доме. Франц Ваксман известен музыкой к фильмам Хичкока – «Окно во двор», «Бульвар Сансет», «История монахини». В моем репертуаре – концерт Ваксмана для альта с оркестром.

По четным числам Анатолий Владимирович играет на альте, по нечетным – на скрипке. В его доме живет чижик, который любит классику и начинает метаться, услышав ненавистную попсу.

– В Восточно-Сибирском море есть остров Жохова.

— Это мой родственник. Я как-то прочитал в «Известиях», что остров Жохова — это последнее географическое открытие на планете. В 2016 году было столетие этого события.

— На чем мы остановились? Ах, да, письмо.

Вот оно, это письмо. Плотная шероховатая бумага, почему-то красные чернила, выцветшие от времени. Наверное, папа, когда писал бабушке Хае это письмо, сердился на неудобную бумагу, подносил к глазам перо и потом долго чистил его о края чернильницы из морозного мрамора.

За год до того, как папа пропал без вести, он писал своей маме.

«Москва, 7 октября 1940 года.

Здравствуй, дорогая, милая мамочка! Вчера послал тебе письмо, шел с сыном в баню, зашли на почту, опустил письмо. Решил сегодня написать также пару слов, хотя добавить особенно к написанному вчера нечего. Вчера был выходной день, воскресенье. Утром встали, позавтракали, пошли с Сенькой в парикмахерскую. Я побрился, а он постригся. Вместе пошли в баню, искупались, потом пришли домой, покушали и легли вместе спать. Единственный день — выходной, когда можно побыть с детьми вволю. Позвонил Лозик, пригласил пообедать. Шура не могла поехать, и я один поехал с Сенькой. Приехал также Володя Андрианов с Машкой, а Соня с маленьким Володькой осталась дома. Фира приготовила чисто еврейский обед — редька с гусиным салом, меруп цимес и другое. Кончили обедать к вечеру, посидели еще немного и разъехались по домам. У всех наших всё благополучно, все живут по-старому. Новостей никаких нет. С Фадей говорил вчера по телефону, у них также всё благополучно.

Ну, вот, пожалуй, всё. Привет всем родным и знакомым. Большой привет Исааку и Соне Раппопорт с семьей, особенный привет Нисону, Бениамину, твоим квартирантам. Целую тебя крепко-крепко. Твой сын Иегуда».

Сенька — это я. Письмо — в Могилевскую область, в Приднепровье, в белорусский

городок Краснополье, где жила до войны бабушка Хая. Она говорила с нами на немыслимой смеси русских, еврейских и белорусских слов. Читать же и вовсе не могла. Письма ей читали Исаак и Соня, а также квартиранты.

Всё благополучно, всё по-старому. Папа вчера написал своей «дорогой, милой мамочке» и сегодня решил написать. Ей ведь всё интересно — кто был, что делали дети, что ели, что понравилось — меруп цимес или редька с гусиным салом.

Летом 41 года бабушка с квартирантами уйдет из Краснополя, а все наши родственники, которые остались там, будут убиты фашистами.

Итак, вечером 7 октября 1940 года папа пишет письмо в Краснополье, макая перышко номер 86 в мраморную чернильницу с красными чернилами. Вчера написал письмо своей маме и сегодня тоже решил написать. Мы с сестренкой мешаем писать, забираясь ему на колени. Мне четыре с половиной года, а Светке — два. Я помню «довойну», а Светка не помнит.

Папа пишет бабушке Хае о «чисто еврейском обеде» у дяди Лозика. У всех всё хорошо — и у Фади, Лёниной жены, и у Лозика, и у Сони. Бабушка так и не узнает никогда, что ее старший сын Лёнька взят органами и сгинул в лагерях, а не уехал в Америку, как сказала ей тетя Фадя. Всё хорошо, только Лёнька почему-то не пишет.

— Я имею что спросить: а что делать еврею в этой Америке? Все краснопольские Ваксманы с пчелками, с воском дело имели, потому и фамилии такая пчелиная. На языке идиш слово «Ваксман» имеет два значения — «восковой человек» и «растущий человек».

Над столом — абажур со скрученными махровыми кистями; свет от лампы под абажуром густо ложится на середину стола, получается круг света; будто розовые мазки на складках накрахмаленной скатерти в углах. Дальше — свет рассеянный, скорее просвеченная

темень. На столе нарядные конфеты «Мишка на севере», «Кара-Кум», «Ну-ка, отними», цукаты – сухое киевское варенье в розетках, калорийные булочки от Филиппова. Мы пьем чай. Из шкафчика в коммунальной кухне мама достает сахарницу со снегирем на ветке рябины и чайные чашки. Про наш кухонный нож мама говорит, что он фамильный. Лезвие его истончилось от старости, и нож стал похож на сабельку. Ножик забыла когда-то мамина мама, другая моя бабушка – Наташа, которая живет в Барнауле.

Папа сказал, что летом надо снять для детей дачу где-нибудь в Сходне, или Загорянке, или же в Снегирах, или в Болшево. Еще можно поехать в Жаворонки.

– В Снегири, в Снегири! – закричал я. – Там есть речка?

– Конечно, есть. Истра. Речка Истра. Мы будем ловить рыбу, собирать ягоды, грибы, валяться на траве. Солнце печет, липа цветет...

Мама сказала:

– Мы будем пить чай на веранде.

– Чай с мятой.

– И смородиновым листом.

– На веранде.

– Непременно на веранде.

– На закате...

Снегирь на сахарнице лакомится ягодами рябины. В большой нарядной коробке – печенье «Садко» из «китайского» магазина на Кировской улице против Главпочтамта...

– Снегири! Там есть снегири?

– Конечно. Ты увидишь снегирей. Они прилетят за рябиной.

– Мне скоро пять лет, а я никогда не видел снегирей.

Ровно через год перестанет существовать отцовская дивизия. На мамины письма будут приходиться секретки из Центрального бюро по персональному учету потерь личного состава действующей армии: «Сведений о местонахождении Ваксмана Иегуды Шахновича в настоящее время не имеется. В списках убитых, умерших от ран и пропавших без вести он не значится».

Даже в списках пропавших без вести он не значится! Пропал в развороченной снаря-

дами земле, исчез в туманах, расстеленных по верховьям Днепра!

Мне кажется, что я помню, как мы ехали на Красносельскую улицу со станции метро Кировская. Помню и этот длинный обед у дяди Лозика в воскресный день предвоенного октября. Взрослые за столом тихо говорили о своих взрослых делах, а мы, маленькие – Маша, Нелли, Владик и я, играли за шкафом. Светка осталась с мамой дома, а Володя-маленький со своей мамой, тетей Соней, у себя на Плющихе.

Мама рассказала, что мой первый роман назывался «Снегири». В нем четыре главы.

Глава первая. Мы живем у реки Истры.

Мы рыбачим. Рыбы много. Мы рады. Нам весело. Мы жарим рыбу.

Глава вторая. Мы пляшем у реки.

Глава третья. Война.

Глава четвертая. Победа!

На стене картина – «Дети, убегающие от грозы». Я иногда взглядывал на нее со сладким ужасом – успеют убежать?

Папа зашел к нам.

– Па, они успеют убежать?

– Конечно, успеют.

– Тогда ладно.

Двор у Нелли и Владика удобный и для штандера, и для прятков, и для чижа. А наш двор в Колокольниковом переулке – маленький. В нем можно играть разве что в «замри-умри-воскресни-отомри». Зато в нем есть глухая кирпичная стена в пятнах краски, со рваными руинными краями.

Взрослые танцевали под патефон – «Цветущий май», «Брызги шампанского», «Рио-Рита» – «О, прощай, Рио-Рита!»

Как льется эта музыка! Вода

Так не умеет литься невесомо,

Но плачу я от музыки веселой,

Всё медленней текущей сквозь года.

Всё глуше с каждым годом, всё милей

Старинный быстрый танец «Рио-Рита».

В сырую землю музыка зарыта

С моим отцом и с матерью моей.

Перед уходом всегда просили дядю Лозика сыграть на пианино. Он всегда играл

полонез Огинского. Ничего другого никогда не играл. Всегда играл полонез Огинского, высоко подняв свою львиную голову и всегда плакал.

И чуть ли не об этом самом дне – 7 октября 1940 года – осталась запись в дневнике писателя Михаила Михайловича Пришвина:

«Мы гуляли в лесу. Над нами летали мельчайшие мошки. Л. спросила:

– Эти мошки живут один день?

– Меньше, – ответил я, – эти мошки – мгновенья.

– Взлетят и умрут?

– Возможно. Только им эти мгновения как вечность...

– И мы тоже так?

– И мы взлетаем на то же мгновенье, только у нас есть человеческая задача вспыхнуть мгновением и так остаться: не умереть».

Когда-то на берегу Японского моря явилась перед охотником Мишей Пришвиным Хуалу, олень-цветок, и просунула ему копытца через виноградные сплетения. Ушло мгновение, но оно вспомнилось, когда он лежал на оторванном тайфуном от скалы, полупогруженном в море камне, похожем на сердце, и расслышал, как оно стучит, сердце камня: «Охотник, охотник, зачем ты тогда не схватил ее за копытца?»

И только в этом году встретился охотник с прелестной земной женщиной, и это с ней он бродил по осеннему подмосковному лесу.

По воскресеньям мы с папой ходили на Центральный рынок, что возле цирка на Цветном бульваре. Картошку папа всегда выбирал можайскую. Можай – это очень далеко. Взрослые так и говорили: «Загнать за Можай». Яблоки были в ящиках со стружками. Запах яблок и запах стружек. Гулять мы ходили на Сретенский бульвар или – в Александровский сад. Еще был футбол на стадионе «Динамо». Футболисты выбегали змейкой под музыку Цфасмана «Счастливый дождик»: «И-и-и, у мальчика пара зеленых

у-у-удивительных маминих глаз, удивительных маминих глаз».

В апреле 1940 года начальник Разведуправления Красной Армии генерал-лейтенант авиации Проскуров, герой испанской войны, забрал к себе молодого подполковника Василия Новобранца из Читы и назначил его замначальником информационного отдела по Востоку. Однажды Проскуров вступил в пререкания с товарищем Сталиным и поплатился за это жизнью. 28 октября 1941 г. он вместе с Рычаговым и другими военачальниками был расстрелян близ города Куйбышев...

Проскурова сменил генерал-лейтенант Голиков, за два года ставший четвертым по счету руководителем разведки. Он до самого начала войны верил, что ее не будет. То ли верил, то ли боялся гнева вождя.

Из-за рубежа шел вал информации. Нужно было ее критически оценить. Новобранец, недоверчивый крестьянский сын, сидел в Управлении допоздна. Ему не хватало сводных документов – сколько дивизий могут выставить против нас, на каких направлениях они могут быть развернуты. Он накапливал материалы, выстраивал логические цепочки. По каждой стране составлялась «Мобилизационная записка».

В массиве информации он научился отслеживать и удалять дезинформацию. Тонкость заключалась в том, что в «дезу» вводилась толика правдивой информации, как правило, уже известной врагу. Немецкая разведка сумела внедрить в наше руководство, как сейчас сказали бы, фейк: Германия готовится нанести удар по Англии.

Подполковник Новобранец назначен врио начальника информотдела. Теперь в его руках гора материалов и по Востоку, и по Западу, и он вгрызался в эту гору. Его личная цель – выследить истину и документально предъявить ее начальству.

Германия только что легко победила Францию. Наши разведчики сумели завладеть

отчетом французского Генштаба об этой молниеносной войне — ценнейшим документом для аналитика.

Подполковник Новобранец мог по дням разобрать действия немцев и вычислить день поражения французской армии.

Осенью 1940 года началась скрытая переброска немецких войск на восток. Пошел поток сообщений нашей агентуры о скорой войне.

В информотделе профессионально отслеживали данные по каждой дивизии. Подполковник Новобранец твердо понял: «Да, это война». Но как донести правду до Сталина и до войск? Разведсводку №8 по Германии (декабрь 1940 года) Голиков не утвердил и, как выяснилось впоследствии, в Генштаб не отослал. Порядок был таков: все документы, подписанные начальником информотдела, утверждает начальник Разведуправления. Только после этого тираж поступает в войска.

Сводку №8 Новобранец решился разослать без ведома Голикова. Тот его, конечно, изругал, но разрешил доложить заместителю наркома обороны генералу армии Мерецкову и заместителю начальника Оперативного управления Генштаба генерал-майору Василевскому.

— Когда немцы могут перейти в наступление?

— Немцы боятся распутицы. В конце мая — начале июня можно ждать удара.

Но подполковник Новобранец не мог знать, что весна 41 года оказалась невероятно затяжной. Снег валил чуть не до самого Первомая.

На совместном совещании Военного Совета и Политбюро генерал Мерецков сказал, что война с Германией неизбежна и что страну надо переводить на военное положение. После этого он был снят с должности и арестован.

Новобранец и его сотрудники продолжали отслеживать все новые переброски немецких войск. Для них не было мелочей. Скажем, прибытие полевых передвижных госпиталей — верный знак войны.

Начало мая. Подполковник Новобранец снят с работы.

Начало июня. Новобранец отправлен в Одессу, в дом отдыха Разведуправления — место, где перед расправой собирали «паникеров».

14 июня. Сообщение ТАСС: «Германия так же неуклонно соблюдает условия Советско-германского пакта о ненападении, как и Советский Союз».

21 июня. Из докладной записки Берия Сталину: «Начальник Разведуправления, где еще недавно действовала банда Берзина, генерал-лейтенант Ф. И. Голиков жалуется на своего подполковника Новобранца, который тоже врет, будто Гитлер сосредоточил 170 дивизий против нас на нашей западной границе. Но я и мои люди, Иосиф Виссарионович, твердо помним Ваше мудрое предначертание: в 1941 году Гитлер на нас не нападет!»

Другой документ: «секретных сотрудников за систематическую дезинформацию стереть в лагерную пыль».

Во время массовых репрессий 1937–39-х годов против командных кадров 43000 наиболее опытных генералов, адмиралов и офицеров были стерты в пыль.

В этот день, совершая тысячный прыжок, мастер парашютного спорта капитан Старчак подвернул ногу, получил растяжение связок и был помещен в Минский окружной госпиталь.

Подполковник Новобранец ошибся: война не началась ни в конце мая, ни в начале июня. Не в его власти было знать, что весна в 1941 году окажется столь недружной, что в мае будет идти снег. Потом природа взяла свое...

Дневник Пришвина: «Все цветы от жарких дней встали, как мертвые воскресли:

фиалки — первые цветы и бутоны ландышей сошлись с мячиками одуванчиков, ранние полевые цветы сошлись с летними: черемуха — начало весны — сошлась с концом ее — цвела сирень».

22 июня. 12.15. Речь наркома иностранных дел Молотова о вероломном нападении Германии на Советский Союз начиналась холодными словами: «Граждане и граждане Советского Союза!», а заканчивалась так: «Наше дело правое. Враг будет разбит!»

Новобранец в санатории получил радиogramму — приказ Разведупра: «Немедленно выехать к месту новой службы город Львов начальником Разведотдела Шестой армии». Война спасла его от неминуемой гибели.

Старчаку жена Наташа привезла в палату одежду, документы и пистолет. Главврач сказал: «Кто хоть как-то способен двигаться, идите на автостраду, садитесь на попутные машины». Старчак, ковыляя, добрался до Минского шоссе...

30 июня. Генерал-лейтенант Еременко принял командование Западным фронтом с тем, чтобы через два дня, 2 июля, передать его самому наркому обороны маршалу Тимошенко.

2 июля. Начало обороны Могилева.

В Москве началась запись в дивизии народного ополчения — с мрачноватой аббревиатурой — ДНО. Можно предложить другое сокращение: дивизии московского ополчения — ДМО. Переставим буквы — получится ДОМ. «Если дорог тебе твой ДОМ...»

Папа — в 13-й дивизии, ростокинской.

3 июля. Где-то возле Смоленска на двенадцатый день войны военкор «Красноармейской правды» Константин Симонов прочитал записанную на слух радистом речь Сталина. Она начиналась неожиданно: «Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота!» Еще — «Друзья мои!» Еще — «положен предел колоссальному разрыву между официальными сообщениями газет о действительной территории, захваченной врагом».

В речи Сталина говорилось о «170 дивизиях, брошенных Германией против СССР». Это совпадает со счетом подполковника Новобранца в варианте блицкрига.

Двенадцатый день войны. Генерал-полковник Гальдер, начальник штаба ОКХ — Верховного командования сухопутными войсками вермахта (Oberkommando des Heeres), который в войну вел подробный дневник, считал, что «кампания против России будет выиграна в течение 14 дней».

Первым ополченцем 13-й ДНО стал Александр Варфоломеевич Орса, в ту пору Саша Орса. Мне повезло — я сидел рядом с ним на юбилейном чаепитии в музее дивизии в школе №270 на Маломосковской улице, дом 7. Он именовал себя так: старший сержант, бывший помощник командира взвода связи 37-го стрелкового полка 13-й ДНО города Москвы, впоследствии 140-й стрелковой дивизии, со 2 октября 1941 года — командир этого же взвода по причине гибели 1 октября 1941 года командира взвода Грязнова во время налета немецкой авиации на наши окопы вблизи моста на реке Днепр.

В 1941 году ему было 29 лет. Работал начальником технического бюро и зам. начальника механического корпуса завода «Калибр». 3 июля секретарь парткома Михаил Васильевич Сутягин сказал ему: «Саша, ты должен возглавить запись в народное ополчение». Сам Сутягин тоже записался в числе первых: «Несмотря на имеющуюся у меня бронь, считаю себя мобилизованным». На заводе «Калибр» записывались бригадами, целыми сменами — просились в одну роту, в один взвод. 55-летний Никита Рыбаков записался вместе с 17-летним сыном Вилей. На заводской площади сюжет для киножурнала снимал знаменитый (в будущем) кинооператор Роман Кармен.

4 июля. Постановление ГКО о народном ополчении. Оно должно было дооборудовать и занять подготовленные оборонительные рубежи. За четыре дня в Москве было сформировано 12 дивизий народного ополчения.

Начсостав ДНО включал лейтенантов, досрочно произведенных в командиры из курсантов вторых курсов военных училищ. Они становились командирами рот и батарей, а также их заместителями.

Первоначально ополченцы были плохо вооружены, не имели транспорта, средств связи, инженерного имущества. На вооружении артчастей состояли французские 75-мм орудия «Бюфорс» со стволами, расточенными под наш 76-мм снаряд.

6 июля, воскресенье. Вечером от прогретого асфальта горбатого Колокольникова переулочка поднималась волна теплого воздуха, обнимала нас, маленьких, уходила вверх, туда, где взрослые. На Сретенке и внизу, на Трубной, теплый воздух был другим, более плотным, он не поднимался волной, а струился над асфальтом, как вода. Будто бежишь по самому краю озера (этого не знают взрослые), брызги воды летят от сандалий — ш-ш-ш, и разматывается в руках катушка суровых ниток, и воздушный змей играет над головой. Иногда мне чудилось, что мы с папой едем в машине с открытым верхом по прогретому песку и он пыхает под колесами.

Запах лип Бульварного кольца заплывал во дворы. Возле цирка на Цветном бульваре папа притянул меня к себе и прошептал на ухо:

*Солнце печет.
Липа цветет.
Рожь поспевает.
Когда это бывает?*

Папа уходит на войну! А Светка плакала. Она, трехлетняя женщина, всё понимала лучше меня. «Рёвушка-коровушка», — говорил папа. Она ревела, крошечка-хаврошечка, всхлипывая, горестно вздыхала и прижималась к теплому папиному плечу. Желтый липовый цвет делал бесцветной зелень листьев.

Сохранился 8-миллиметровый фильм Романа Кармена: добровольцы 13-й дивизии проходят по Первой Мещанской, следуя на Садовое кольцо. Эти кадры вошли в советско-американскую киноэпопею «Великая

Отечественная». В американском прокате она называлась — «Неизвестная война».

*Не смотрю я фильмы о войне,
Ни боевики многосерийные,
Ни монументальные, в огне,
Но документальные, старинные...
Мне от них не отвести глаза,
Мне с вещами надлежит явиться
В сорок первый, отыскать отца,
Вглядываясь в пасмурные лица
Ополченцев. Вот они идут,
И никто из них не похоронен.
Все, все до одного они живут
В пулеметных лентах кинохроник...*

7 июля. Бабушка Хая еще в Краснополье. По дорогам пылили на восток беженцы. А навстречу им продвигались фронтовые корреспонденты Константин Симонов и Алексей Сурков. В этот день они, проезжая Краснополье, остановились у книжного магазинчика (довоенная привычка), купили контурные карты Могилевской области и Белоруссии. Симонову странно было, что на свете еще есть книжные магазины. Две женщины у дороги держали на руках ребятишек, те махали ручонками. Симонова, как он пишет в дневнике, «прошибла слеза, и я чуть не заревел». В глухих деревушках женщины выносили крынки с молоком, крестили военных. Пронизанный солнцем лес. На лесной дороге ребятишки угощали военных земляникой.

Симонов хотел запомнить это: «Низкие холмы, облитые красным светом заката, темно-зеленые купы деревьев около маленькой деревни. По гребню холма мальчишки гнали лошадей. Над крышами курило тонкий дым. Мирная картина срединной русской природы...»

Совсем недавно, в мае, Симонов писал стихи для Валентины Серовой, женщины с глазами то серыми, то синими, влюбленный в нее — в «злую, ветреную, колючую, хоть ненадолго, да мою, ту, что нас на земле помучила и не даст нам скучать в раю». Всю войну он будет писать для нее книгу «С тобой и без тебя», и одно стихотворение из этой книги

солдатские жены будут переписывать и посылать друг другу — эту молитву, эту надежду.

Командиром дивизии и начальником штаба 13-й дивизии назначены преподаватели Военной академии им. Фрунзе соответственно полковник Морозов и Мусатов, тоже полковник. Военный комиссар — парторг ЦК ВКП(б) на ВСХВ — Тарасов Петр Григорьевич. Вечером получен приказ: выйти из города в полевые лагеря для сооружения Можайской линии обороны.

8 июля. Задача — совершить марш в 35 км и выйти на рубеж: деревня Снегири на Волоколамском шоссе — деревня Козино.

Москву прошли до наступления рассвета.

Гитлер заявил: «Непоколебимым решением фюрера является сровнять Москву и Ленинград с землей, чтобы избавиться от населения этих городов, которые в противном случае мы потом будем вынуждены кормить в течение зимы. Задачу уничтожения городов должна выполнить авиация. Ни в коем случае не использовать для этого танки».

9 июля. 13-я ДНО. После выхода на рубеж приступили к рытью окопов, к оборудованию дзотов и блиндажей, ставили шалаши. Жара высушила землю. На боевую подготовку отводилось шесть часов в сутки. Вставали в четыре утра, ложились в одиннадцать вечера. Имелось несколько десятков учебных винтовок и пулеметов. В дивизии после комиссования больных осталось 8010 человек.

10 июля. Многие жители Краснополя уходили на восток. Бабушку Хаю взяли с собой квартиранты. Потом она рассказывала, что до Варшавского шоссе добирались через город Пропойск. В XVI веке этот город был разорен во время крестьянского восстания под командой человека по фамилии, как ни странно, Наливайко. А название города — самое безобидное, от слова «пропой», что

означает водоворот при слиянии рек. Здесь река Проня впадает в Сож, а Сож — в Днепр.

Разглядывая топокарту, я заметил: к югу от Краснополя на Днепре есть городок Лоев — показалось знакомым название. Пошел в «Википедию»: Лоев впервые упоминается в письменных источниках 1505 года как «Лоёва Гора». И вспомнил я любимую сцену из пушкинского «Бориса Годунова» — «Корчма на литовской границе»! Григорий Отрепьев расспрашивал хозяйку корчмы о дороге в Речь Посполитую (так звалась федерация Королевства Польского и княжества Литовского).

«— Куда ведет эта дорога?

— В Литву, к Луёвым горам.

— А далече ли до Луёвых гор?...

— Вот хоть отсюда свороти влево, да бром иди по тропинке до часовни, что на Чеканском ручью, а там прямо через болото на Хлопино, а оттуда уж всякий мальчишка доведет до Луёвых гор».

Лой — это белорусское слово, означает жир, говяжий или бараний. Им смазывали бревна, по которым переволакивали по суше ладьи из одной реки в другую.

Двести с лишним лет назад тогдашняя граница была «горячей линией», и о ней до сих пор вопят названия рек — Воль, Вопец, Мерзавка.

12 июля. Фашисты прорвали нашу оборону на Днепре у Шклова и на реке Сож, охватывая с севера и с юга Могилев.

Жизнь моей бабушки, уходившей в толпе беженцев, зависела от того, как долго будет сражаться в Могилеве 61-й стрелковый корпус генерал-майора Бакунина. Корпус, уже окруженный, удержит город до 26 июля.

Бабушка Хая со своими квартирантами успеет добраться по Варшавскому шоссе до Рославля, до Екимовичей, до Юхнова, и дальше, дальше. Позже случится невероятное — дядя Лозик, ехавший в корреспондентской машине, увидел свою мать среди беженцев, обтекавших Москву...

Дневник Пришвина: «После таких страшных холодов вдруг жара и такой рост трав, что цвет ландышей сошелся во времени с цветом шиповника».

13 июля. На двадцать второй день войны Константин Симонов в 338-м сп 172-й сд 1-го стрелкового корпуса 13-й армии, защищавшей Могилев, впервые увидел, как наши войска твердо держат оборону. Фотокорреспондент Павел Трошкин сделал панораму из 39 подбитых немецких танков для симоновского подвала в «Известиях», озаглавленного — «Горячий день».

Десять дней с запада на восток шли «окруженцы» — кто с оружием, кто без оружия. Симонову припомнились слова Льва Толстого из дневника 1854 года: «Необстрелянные войска не могут отступать, они бегут».

Командир полка полковник Семен Федорович Кутепов сказал Симонову:

— Что бы там кругом ни было, кто бы там ни отступал, а мы стоим вот тут, у Могилева, и будем стоять, пока живы.

Его полк хорошо закопался, отрыл окопы полного профиля, множество ходов сообщения. Кутепов знал, что слева и справа от Могилева немцы форсировали Днепр и полку предстоит драться в окружении.

Через 38 лет здесь, на Буйновическом поле, что на шестом километре Бобруйского шоссе, по желанию Симонова был развеян его прах. На мореной гранитной глыбе у противотанкового рва выбито: «Всю жизнь он помнил это поле боя и завещал развеять свой прах». И росчерк — «Константин Симонов».

14 июля. Немецкие войска достигли Смоленска.

16 июля. Радиограмма командиру 61-го корпуса Бакунину: «Приказ Верховного: Могилев сделать неприступной крепостью».

17 июля. Через 9 дней после выхода из Москвы 13-й дивизии предписано перейти на свой второй рубеж — в район Волоколамск — Осташево и приступить к оборудованию рубежа обороны по берегу реки Рузы в районе севернее Карачарово.

18 июля. 32-й армия обороняла Волоколамское шоссе — к западу и к востоку от города Волоколамска.

19 июля. Генерал Еременко через 17 суток после передачи дел маршалу Тимошенко вновь назначен командующим Западным фронтом, но ненадолго.

10-я танковая дивизия 2-й танковой группы Гудериана заняла Ельню, но дальнейшее наступление немцев в направлении Спас-Деменска остановлено. Образовался Ельнинский выступ, который полтора месяца наши войска безуспешно пытались срезать.

Этим днем, 19 июля, помечено «Свидетельство о браке» моего отца и моей матери. Цветной бульвар. Мы опять были вместе — папа, мама, я и Светка. Она опять ревела. Папа сидел на скамейке, раскинув руки, обнимал ее и маму.

— Светик, солнышко, скоро кончится война, и мы все вместе поедим на дачу в Снегири.

— Снегири! Снегири!

Дядя Лозик потом утверждал, будто папа сказал ему: «Может быть, мы отдадим Москву. У нас нет винтовок. Как мы будем воевать?» И как вторую страшную семейную тайну (а первая — арест дяди Лени), жгли меня эти слова, которые якобы сказал папа.

Но через много лет в документальном фильме «Если дорог тебе твой дом» маршал Жуков на прямой вопрос Симонова «Верили ли вы, что мы удержим Москву?», подумав, ответил, как гвоздь забил: «Был такой период, когда я считал, что мы этот узел обороны... оставим». И сразу у меня отпустило на душе. Значит, и папа вместе с Жуковым знали, что мы победим, победим, даже если и отдадим Москву.

...Когда липы отцветают, всегда вспоминаю тот июльский день, Цветной бульвар у впадения его в Самотеку и запах липового цвета. Мы сидим все четверо на скамейке, пятнистой от солнца, процеженного сквозь листву. Мама прижалась к отцу. Светка на папиных коленях. Я разматываю отцовскую обмотку.

Он сидит с закрытыми глазами, будто копит тепло. Он молчит. Обмотка спадает кольцами, как бинт, и кажется мне бесконечной, как жизнь. Из прохладных подворотен приятно тянет карбидом.

Больше никогда не будет того, довоенного Александровского сада, того, довоенного парка Горького с парашютной вышкой, пруда с каменными лягушками, речных трамвайчиков на Москва-реке, долгих воскресных обедов у тети Сони на Плющихе или же у дяди Лозика на Красносельской; не будет стадиона «Динамо» — травяно-зеленого поля, гудящих трибун, футболистов, змейкой выбегающих к центральному кругу под мелодию «Счастливого дождика». «Футбольный марш» уже написан Блантером, но его не играли до Победы, до сорок пятого года.

Папа ушел. А мы вернулись домой, на Колокольников — по бульвару мимо рынка, мимо цирка, на Трубную площадь, мимо углового «гастронома», дальше по Трубной улице, мимо молочного, мимо «Ремонта пишущих машинок». Поднялись по Сретенскому холму. Солнце на секунду ослепило меня, отразившись в стеклах окон рдяно-кирпичной школы против нашего дома. Больше мы никогда не увидим папу.

Наше окно задернуто черной шторой. Вечерами я должен проверять с улицы — не пробивается ли свет.

20 июля. К исходу дня 13-я дивизия вышла в Осташово и стала обустривать свой рубеж на реке Руза. На боевую подготовку отводилось всего два часа утреннего времени — стрельбище, полигон.

Прямо над позициями — трасса пролета немецких бомбардировщиков, летящих на Москву.

22 июля. 19.30. Первая воздушная тревога в Москве. Михаил Пришвин ночевал на станции метро Дзержинская. Платформа — только для матерей с детьми. В поисках места он прошел по рельсам чуть не до Кировской.

22 июля. Первая бомбардировка Москвы. Нас — меня, Светку и моего лучшего друга Волика — увели на ночь в полуподвал к Кузиным. Мы с Воликом подкрадывались к окну, приподнимали краешек шторы. Над крас-

ной школой был виден прогал неба, располосового лучами прожекторов. Что-то серебристое проскальзывало по небу, уходя от желтых вспышек разрывов.

3.25. Отбой. К Кузиным нас водили недолго. Мы стали ночевать на станциях метро. Сначала на Кировской, потом на Дзержинской. В сумерках спускались по Колокольникову, переходили Трубную площадь, под которой, говорили, в железной трубе текла река Неглинка. Кто это знает, не удивится, если среди лип и тополей вдруг вымахает речная ветла. Название это — Не-глин-ка — выдавало погребенную речку, когда-то с песчаными берегами, рыбацкими куканами, на кукане окуньки.

Хорошо бы приподнять железный люк на площади. Однажды я увидел, как его поддевали ломом. «Бои под Москвой» — чудилась битва там, у подземной реки.

От Трубной площади мы поднимались по Рождественке мимо запущенного монастыря, мимо кирпичной стены, под которой, говорили ребята, могут быть клады, мимо затаявшегося в глубине улицы дома, где Советское Информбюро. Его сводки пересказывали на улицах хмурые репродукторы. Станция метро Дзержинская сама походила на половинку репродуктора. Взрослым без детей разрешалось ночевать на рельсах, на больших деревянных щитах, а на платформы взрослых пускали только с детьми.

Зато потом было московское знобящее утро. Я не мог наглядеться на Москву, такую надежную, прожившую без нас бомбардировочную ночь. Осколки, еще теплые, накапливались на краю мостовой у кромки тротуара. Карманы хорошо оттягивались ими. Конечно, Москву защитят летчики с такими звенящими фамилиями — «Гас-тел-ло», «Та-ла-ли...хин» — но в конце-то фамилии Талалихина глухо и печально слышалось: «хинн».

Сердце нашей Родины — Москва.

Родина покинутая, берег.

Бьет она, родимая, с носка,

И слезам по-прежнему не верит.

Бьет она и плакать не даёт,

Но когда нечаянно прольются

*Ливни, слёзы — в душу западёт:
Я хочу на родину вернуться.
Может быть, вернуться захолустным
Сорелем, покоряющим Париж,
Но Москву не удивишь капустой
И ничем другим не удивишь.
Я вернусь, и вот тебе мой адрес:
Почта до востребования, транзит,
И окошко, в клейстере крест-накрест,
Мальчика в испанке отразит.
Он у мамы спрашивает: Сколько
Можно мне гулять? — Пока отбой.
Как тепло в кармане от осколков!
Мама говорит: «Иди домой,
Чай остынет».
С голубым пером
Птица нарисована на блюде.
Черным ходом, проходным двором
Я хочу на родину вернуться.*

23 июля. Гитлер в разговоре с главнокомандующим ОКХ генерал-фельдмаршалом Браухичем и его начальником штаба Гальдером подтвердил три цели: Ленинград, Москва, Украина.

24 июля. Руководство 13-й дивизии раскритиковано за беспечность в вопросах маскировки.

В районе Ельни Константин Симонов по дороге встретил московских ополченцев, немолодых отцов семейств под командой пожилых запасников. Не только винтовок не хватало, но и гимнастеров. Шли в каких-то синих, крашенных, третьего срока. Их, необученных, необстрелянных, отводили подальше от линии фронта, к Вязьме, на земляные работы. Скорее всего, это были добровольцы 6-й дивизии из 24-й армии генерала Ракутина.

В переговорах Сталина с генерал-полковником Еременко частенько встречаются выражения — «разбить подлеца Гудериана», «задать ему перца». Эти любимые выражения жизнерадостного генерала нравились Сталину, вселяли в него уверенность. Да и сам Еременко нравился.

Для советского командования казалось невероятным, что немцы снимут силы с московского направления и повернут на юго-восток. Но это случилось.

Гудериан был против этого решения Гитлера. Гальдер тоже был потрясен. Ведь наступление на Киев неизбежно вело к зимней кампании под Москвой. Однако заместитель Гальдера генерал-лейтенант Паулюс считал, что прямая атака на Москву невозможна, потому что с юга можно ожидать контрудара советских войск.

25 июля. По словам Симонова, в штабе 13-й армии получено сообщение от генерала Бакунина — запросил разрешения на отход. Ему приказано оборонять Могилевский плацдарм. Полковнику Кутепову, прототипу Серпилина из симоновского романа «Живые и мертвые», не удалось вырваться из кольца окружения. 338-й полк poleg почти целиком. Кутепов был ранен и умер от потери крови.

26 июля. В глубоком тылу немцев пал окруженный Могилев.

27 июля, воскресенье. Симонов вернулся в Москву. Неделю жил на даче Льва Кассиля в Переделкино. Тишина. Высокие сосны, вершины чуть покачиваются. В траве спеет сладкая земляника. Как странно, что есть еще на свете воскресенье.

29 июля. Начальник Генштаба генерал армии Жуков позвонил Сталину и просил его принять для срочного доклада.

— Киев придется оставить. На Западном направлении ликвидировать Ельнинский выступ. Немцы могут использовать его для наступления на Москву.

— Что за чепуха. Наши войска не умеют наступать. Как вы могли додуматься сдать врагу Киев?

— Если вы считаете, что я, как начальник Генштаба, могу только чепуху молоть, тогда мне здесь делать нечего. Я прошу освободить меня от обязанностей начальника Генштаба и послать на фронт. Там я, видимо, принесу больше пользы Родине.

— Вы не горячитесь. А впрочем... Мы без Ленина обошлись, а без вас тем более обойдемся.

— Я человек военный и готов выполнить любое решение Ставки...

«Могу выполнять любую работу. Могу командовать дивизией, корпусом, армией, фронтом...»

В 1930 году командир кавдивизии Константин Рокоссовский дал такую характеристику своему подчиненному, командиру кавбригады Георгию Жукову: «Сильной воли. Решительный... Болезненно самолюбив. В военном отношении подготовлен хорошо. Имеет большой практический командный опыт. Военное дело любит и постоянно совершенствует. Заметно наличие способностей к дальнейшему росту. Авторитетен... Может быть использован с пользой для дела по должности помкомдива или командира мехсоединения... На штабную и преподавательскую работу назначен быть не может — органически ее ненавидит».

Стиль Рокоссовского необычен для подобных отзывов.

«Может быть использован на должности помкомдива...» Но Жуков знал себе цену: «Могу командовать дивизией, корпусом, армией, фронтом...» «Помкомдива» — не забыл, ох, не забыл.

Конечно, Георгий Константинович после разговора со Сталиным чувствовал себя уязвленным.

— Не горячитесь. Мы назначим вас командующим Резервным фронтом. Когда вы можете выехать?

— Через час.

Вместо Генштаба Резервный фронт, состоящий почти сплошь из добровольцев, — это унижение, это «помкомдива».

Бомба попала в люк канализации на Пушкинской площади. В радиокомитете выбило стекла. Юрий Левитан как раз читал сводку Совинформбюро. Свет погас, и текст ему подсвечивали карманным фонариком.

В этот день Симонов на даче Льва Кассиля написал «Майор привез мальчишку на лафете», «Не сердитесь, к лучшему» и — «Жди

меня». Кассиль сказал, что стихотворение — хорошее, хотя и похоже на заклинание. Ничего не понял!

Почему мы не ходим ночевать в метро Кировская? Ведь оно так близко — надо подняться на Сретенку и пройти к Чистопрудному бульвару. В станции метро — окна-иллюминаторы, как будто в подводной лодке «Наутилус» капитана Немо. Рядом с метро, на улице Кирова, ближе к Садовому кольцу, есть стеклянный дом, облицованный розовым туфом. Тени облаков проплывают по его прозрачным стенам. Машины могут проезжать под этим висящим в воздухе домом, будто выплывшем из Лучезарного города, придуманного Ле Корбюзье. Да и сам дом похож на имя архитектора — Ле Корбюзье.

Если идти по Кировской к центру — справа чайный магазин, который зовут «китайским». Я боялся каменных дракончиков, прятавшихся в стенах дома. Внутри магазина — вкусный запах свежемолотого кофе, большие вазы, разрисованные чайными розами и цветущими вишнями. Против китайского магазина — Главпочтамт, похожий на вокзал, с двойными рядами балконов. Как я люблю эти дома — почтамт, китайский магазин, стеклянный дом!

Осколки стекол лежат вокруг дома Ле Корбюзье, блестят на солнце и хрупают под ногами. Улицу перекрыли, разрыли, разгородили деревянными щитами. Очень немногие тогда знали, что в начале июля из Кремля Генштаб и Ставка ВГК были переведены в небольшой особнячок с мезонином на Кирова, 37 — рядом с метро. Сталин работал во флигеле особняка. Раньше здесь был детский сад.

Через месяц операторы Генштаба — рабочего органа Ставки — разместились на станции метро Кировская. Поезда пролетали на скорости, не останавливаясь. Зал отгорожен от путей большими листами фанеры. Отдельные помещения — для вождя, операторов и связистов. Генштабовцы отсыпались на скамейках метропоезда, позже подогнали купированные железнодорожные вагоны.

Фашисты не смогли преодолеть сопротивление 78-й стрелковой дивизии генерала Белобородова и продвинуться к Москве дальше поселка Снегири. Сейчас здесь, на 42-м километре Волоколамского шоссе, — мемориальный комплекс «Рубеж Славы».

Я присмотрел в поселке домик с открытой верандой, залитой солнцем, — он мог бы понравиться папе, искупался в речке Истре, пересыпал крупнозернистый кварцевый песок, который мог быть согрет моими довыми ладошками.

*Солнце печет,
Липа цветет,
Рожь поспевает.
Когда это бывает?*

Я знаю, что перед смертью папа думал обо мне, что душа его стремилась именно сюда, в поселок Снегири.

Чуть севернее, на 41-м километре Ленинградского шоссе у деревне Крюково, взят прах Неизвестного Солдата, захороненный в Александровском саду у кремлевской стены.

До войны там тоже был прекрасный песок, не хуже, чем на Истре. Музыка довоенная, джазик — чудом сохранный пустячок.

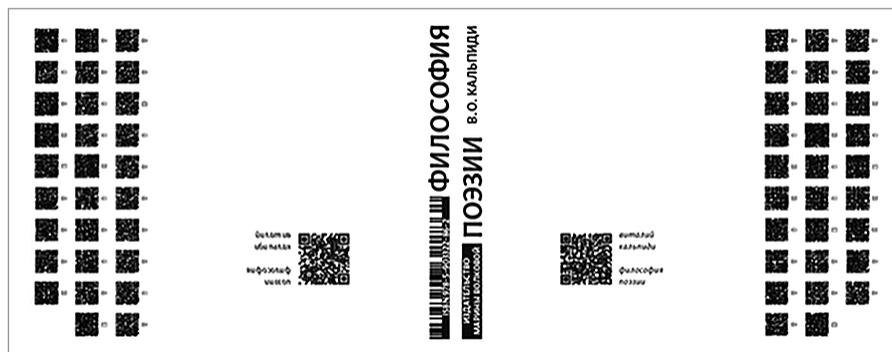
*С утра побрился
И галстук новый
В горошек синий я надел,
Купил три астры,
В четыре ровно
Я прилетел,
Я прилетел!
Не надо утром на работу,
Пойдем мы в сад гулять с тобой. —
Так пел мой папа в ту субботу
Перед войной,
С которой он не воротился
На Колокольников, домой,
И охраняют пехотинцы
Его покой...
Солдат, конечно, неизвестен,
Но только слышу всякий раз —
Так, значит, снова на том же месте
В тот же час!
В тот же час.*

Эпилог.

Эпилога не будет...

Ольга Балла

Воздух над обрывом: весёлая наука Виталия Кальпиди



Ищущий в книге под названием «Философия поэзии» философии как системы умозрений будет, по всей вероятности, в своих ожиданиях обманут: ни системы, ни теории ему тут не обнаружить. То есть система представлений и интуиций у автора на самом деле, разумеется, есть, но излагается она принципиально несистематически. И самое главное — это никакое не умозрение. Это руководство к действию... которому, правда, невозможно следовать.

В своём философском поведении (если это оно — а почему бы и нет?) Кальпиди следует путями, проложенными явно не Гегелем и Кантом, а скорее уж Ницше. Его книга — собрание (опять же принципиально) разнородных текстов: статей, рецензий, афоризмов, воспоминаний, дневниковых записей... Вообще, к слову «принципиально» в разговоре о ней придётся возвращаться не раз, поскольку на самом деле «Философия поэзии», при всей своей внешней как будто разнородности, — текст, во-первых, весьма цельный, а во-вторых, совершенно определённого жанра: она — манифест. Декларация ценностных позиций. Мышление автора (ещё раз принципиально) образно, пристрастно и (нарочито) парадоксально; разнородность же и разностильность нужны как минимум для объёмности — для того, чтобы подступаться к единственно волнующему его предмету — сущности поэзии и задаче поэта — с разных сторон.

Ну и, конечно, — уж не в первую ли очередь? — для того, чтобы выбивать читательское восприятие предмета в частности и мира вообще из сложившихся равновесий. Нанося удары с разных сторон — расшатывать рамки.

В книге наслаиваются друг на друга, пересекаются друг с другом «вертикальные» и «горизонтальные» ходы мысли, не только выраженные жанрово, но обозначенные ещё и графически, чтобы читатель в их разнонаправленности — и в разности их функций — уж точно не сомневался. Выдержки из дневника и короткие записи-«джинглы» Кальпиди располагает на страницах вертикально перпендикулярно высказываниям иных жанров, традиционно-горизонтальных. Впрочем, ничего в традиционном смысле дневникового — личного, биографического и ежедневного — в этих записях нет, — все они сплошь — мысли о единственно занимающем автора предмете (впрочем, это как раз самое личное и есть), коренящиеся — в том числе и интонационно — в традиции, которой в новоевропейском сознании положил начало Ницше, приводящие на ум, например, его «Весёлую науку».

«Если представить обрыв, весь испещрённый ласточкиными норами, и уподобить эти норы местам дислокации разнокалиберных существ с таким же разнокалиберным невежеством внутри себя, то воздух над и у обрыва — это как раз пространство истины».

Разумеется, Кальпиди дразнит и эпатирует. «Презрение — начальная стадия нежности. Любовь — стометровка с ненавистью на финише». Разумеется, он поступает так совершенно серьёзно, поскольку в его случае это — действия опять же принципиальные. Он провоцирует и огрубляет: «Человек, содержащий приют для брошенных домашних животных, ближе к тайным возможностям поэзии, чем Пастернак Мандельштамович Пушкин», бросает вызов (устоявшимся косным представлениям и изжившим себя авторитетам, чему же ещё): «Будь я аристократом, то презирал бы Ахматову. А так — я её просто терпеть не могу»...

На самом-то деле он смертельно, почти невыносимо — мало для кого выносимо — серьёзен. И всё это (в отличие от философии в строгом устоявшемся смысле) никакая не теория. Чистая, как спирт, практика.

Нарочито и утрированно неудобный: «Поэзия — <...> зона невежества, истыканная “норами” индивидуального мракобесия. <...> поэты — мракобесы в чистом значении этого очень динамического слова» — Кальпиди роет норы в косном смысловом веществе, продалбливает в нём ходы. Он «философствует молотом».

«Их (поэтов. — О.Б.) необразованность и лень поражают своим масштабом, но если на них (необразованность и лень) не опираться, а использовать как топливо, то “полёт” обеспечен».

«Главы книги, — предупреждает нас Кальпиди, — похожи на статьи, эссе, заметки, афоризмы, мемуары, но на самом деле это интуиции, иллюзии, инструкции и даже инсинуации...» Всеми этими, прежде него заготовленными культурой формами, он пользуется для своих целей: «сплетаясь в единую напряжённую поэтическую речь, порождают философию русской поэзии». «На самом деле это, — говорит автор в комментирующей книгу видеоролике, — попытка прозаическими пазлами заполнить пустоты, которые образуются, когда происходит процесс выпадения смыслов» (которое, как он полагает, в современной культуре и происходит). «...Эти смыслы художники должны заполнить, попросту создав их»¹ — что и составляет задачу «современного осмысленного художественного процесса»².

Культура, настаивает он в том же ролике, «имеет неочевидную цель преодоления наций, народов и государств как промежуточных форм массового мифотворчества».

Ключевое слово тут — преодоление (да и слово «мифотворчество» не последнее по важности: автор намерен творить новые мифы — куда более абсолютные, совершенные и властные, чем все доселе состоявшиеся «промежуточные»). Программа Кальпиди (если совокупность не очень конкретно заявленных целей можно назвать программой) — универсалистская. С превосхождением всего частного как ограниченного и в силу этого — несовершенного: «поэт — прежде всего патриот <...> поэтической миссии, а не государства, нации или народа».

(И в этом отношении Кальпиди — прямой наследник христианского универсализма; но его мировосприятие как-то не получается назвать религиозным, оно, скорее, — постхристианское, заимствующее некоторые религиозные структуры. Он так же активно, если не сказать — настойчиво, использует в своих целях слова из христианского лексикона — наполняя их собственными содержаниями: «Отношения между богом и человеком — бездарны, потому что они не дар, а необходимость. Уверен, сами ангелы ни разу не видели бога. Стало быть, факт их наличия или отсутствия — несущественен»; «Если ты бездействуешь, за тебя начинает работать твой ангел-хранитель, а работник он никакой, потому что способен только охранять. Да и, как выясняется в самом конце, охранник он аховый». В отношении же христианских представлений он демонстрирует — несомненно, нарочито — грубое непонимание, чуть ли не бравируя им: «Что за идиотская фраза: “Блаженны нищие духом”? Так чем они блаженны? Своим нищим духом или же, будучи нищими, блаженны каким-то снизошедшим на них божественным духом?»)

Задачи автора — и, в его представлении, задачи поэзии как таковой — куда амбициознее всего, что имеет отношение к культуре. Да, он если и не предлагает путей к преодолению разного рода несовершенных форм «массового мифотворчества» (ничего внятного об этом здесь не сформулировано; ответа на вопрос «как» искать нечего), то, по крайней мере, настаивает само это преодоление как задачу. Да, поэзия демиургична: «любой мощный текст, — гласит одна из дневниковых записей автора, — это модель абсолютно нового мира, который возникает внутри абсолютно архаичного (старого) человека». Но «конечная цель поэзии простирается дальше конечной цели человечества».

И вот это уже существенно. Что это, как не преодоление если и не человека как вида (хотя тоже почему бы и нет?), то, по крайней мере, человечества как эмпирического целого?

Поэтическими средствами — которые он понимает как наиболее сильные из всех существующих — Кальпиди считает возможным и необходимым как исправлять не только культуру, но, шире того, — человеческую природу, а в пределе — и превосходить её. В довольно точном соответствии с тем, как философский его предок надеялся на преодоление человека ради сверхчеловека.

«Бог — это дверь. Человек — ключ. А вот войти должен кто-то третий». Но слова «сверхчеловек» он предпочитает не употреблять, находя более привлекательным христианский словарь: «Ангелом может стать любой человек, преодолевший промежуточное (с точки зрения духовной эволюции) состояние, называемое в простонародье “личностью”».

Итак, как мы уже заметили, Кальпиди возвращается к — оставшейся как будто в позапрошлом культурном пласте — идее поэзии как демиургии и поэта как демиурга, поэта как фигуры титанической («...художник, порождённый культурой, всегда (! — О.Б.) превосходит её по своим возможностям вплоть до отказа повиноваться её законам»). Причём стихам как таковым и их материалу — словам — достаётся роль (всего лишь) инструмента такой работы, и преходящего инструмента. Может быть, по какому-то самому большому счёту можно было бы, стоило бы и без них, — в стихах интересующая автора поэтическая, демиургическая работа всего лишь набирает силу, разогревается, использует их на растопку (так ведь прямо и сказано — «использовать как топливо», — пусть горит!), чтобы оттолкнуться от них и пойти дальше.

«...судьба русского поэта перестала быть связана только со стихами. <...> судьба — это строительный материал для создания и поддержания в рабочем состоянии многоярусного мистического пространства, где стихи способны эффективно исполнять свою миссию».

Обратим также внимание на слово «мистический». Оно тут не случайно. Поэзия у Кальпиди встаёт на место религии, заимствует у неё лексику, интонации, пафос.

Вообще-то Кальпиди жёсток, настойчив и требователен, как проповедник. Правда, такое сравнение всё-таки ощутимо хромает, опираясь лишь на единственную ногу — на пафос. Перед нами — такой парадоксальный проповедник, который не собирается убеждать и выстраивать ради этого доказательства, а особенно систематические.

Куда более близким к существу того, что делает Кальпиди, видится ему мышление и говорение опущенными звеньями: читатель пусть сам перепрыгивает — тем сильнее будет воздействовать пройденный путь, сам факт его прохождения. Кальпиди — проповедник-провокактор. (Важны обе части этого определения; может быть, вторая — важнее.)

В основе всего предприятия Кальпиди очевидным образом лежит интуиция: если читатель вообще чего-то стоит, он сам дойдёт до нужных (автору) выводов. Главное — подтолкнуть.

Интересно, что о поэзии он умудряется говорить, почти не цитируя стихов. Чтобы не тратить на это времени и пространства, он вынес всё это, весь обосновывающий, иллюстрирующий, комментирующий материал за пределы книги, в изобилии снабдил её выполняющими роль сносков QR-кодами: они, расположенные и на страницах её, и даже на суперобложке, отсылают читателя к «сетевому депозитарию», специально для этой книги созданному. Книгу, по идее, надо читать со смартфоном — и анализировать обосновывающий её, питающий её материал («видео-, аудио-, фото- и текстовые материалы», об «избыточности» которых сам автор говорит-проговаривается в представляющем книгу видеоролике) опять-таки собственными силами. Самостоятельно собирать пазл.

Но дело-то в том, что текст совершенно красноречив и без смартфона. И весь иллюстрирующий материал вынесен за её пределы, чувствуется, именно поэтому: без него можно обойтись. Или поставить на его место любой другой материал.

Вряд ли Кальпиди хочет быть убедительным — поэтому ему не надо выстраивать доказательства. «Это настолько очевидно, — комментирует он одно из своих положений, — что требовать доказательств правильности этой мысли — подло». Если ему что-то и важно, так это зафиксировать своё понимание — что же касается других, то ему важно разве что вывести их из равновесия, из обжитых инерций и дать им возможность думать самостоятельно — поставить их перед этой возможностью, как перед вызовом. Не наставлять, но раздражать и язвить.

Характерно, что программы — то есть соображений о том, как, хотя бы примерно, чаемые цели поэзии могли бы достигаться — в том, что написано и собрано в книгу, искать тоже не стоит. Представлений об этом у автора ещё меньше, чем системы, то есть даже если (предположим) он это знает, то нам он об этом не говорит. Ему важно — чтобы была заявлена цель, чтобы она застряла в культурной памяти. Говорю же — манифест.

Книга, конечно, нимало не филологическая — скорее уж пост-филологическая: полагающая, что она переросла филологию как совокупность задач, во всяком случае, не слово она проблематизирует и не им, в конечном счёте, занята. Она идеологическая — и занята лишь в первом приближении культурными, по большому же счёту — транскультурными стратегиями; преобразованием человека и мира. И в таком смысле, да, перед нами — несомненная философия. (Настоящая и насущная задача которой, как, помнится, выразился один из влиятельных идеологов эпохи модерна, — изменить мир...)

«Если нельзя изменить мир, — тут же отзывается автор, — то нужно измениться самому и действовать так, как будто ты живёшь в идеальном мире».

Но вообще изменить мир он всерьёз надеялся — и, кажется, по сию пору не (вполне) перестал: «Первая моя настоящая книга — “Мерцание” (1995). Она писалась с мыслью, что мир после её появления изменится». Такое стремление он считает родовым признаком писательской работы: «Если такого ощущения у писателя нет, то он пишет не книгу, а стенгазету (даже если это стенгазета для ангелов)».

Да, всё это — от заявленных целей до патетических интонаций — выглядит вызывающе архаичным, отсылая читательское воображение по меньшей мере к эпохе символизма, которому автор наследует прямо и сознательно (вплоть до вписывания своего проекта в христианские по происхождению структуры). Мы имеем тут дело с утопией, характерной для модерна как культурного состояния, полной его узнаваемых мотивов. И дело тут, думается, не (только) в «провинциальности» сознания уральского поэта, а если и в ней — то в том смысле, что,

весьма вероятно, в так называемой провинции, вдалеке от культурных центров, хранятся (и подспудно тлеют) недовостребованные, неизрасходованные смысловые, энергетические резервы культуры. Модерн как совокупность культурных процессов в России был, в силу исторических обстоятельств, насильственно оборван; мы не отработали его как программу; он остался в культурных недрах как неосуществлённая возможность, как неизжитое беспокойство, — и, видимо, как-то продолжает там скрытую работу.

Уже записав эту мысль, автор этих торопливых строк надумал запустить в интернете поиск по имени «Кальпиди» — и вскорости обнаружил, что, оказывается, нечто очень похожее приходило на ум Владимиру Абашеву больше двадцати (!) лет назад. Кальпиди, писал создатель концепции пермского текста русской литературы в 1998 году, «обнаруживает, что судьба символизма у нас ещё не избыта, не договорена»³.

Что ж, прошло два десятилетия — но, похоже, в этом отношении ничего не изменилось. В том, что (и как) делает, говорит, чувствует Кальпиди, совокупность не решённых век назад задач выходит на поверхность — и должна, наконец, быть продумана заново.

Виталий Кальпиди. Философия поэзии. — Челябинск: Издательство Марины Волковой, 2019

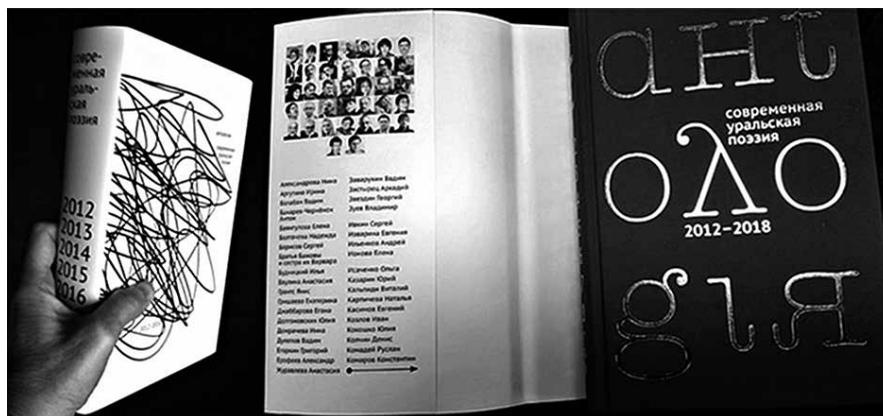
¹ <https://www.youtube.com/watch?v=dcduVkr3buQ>

² Там же.

³ http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1998/5/rec03.html

Юлия Подлубнова

Уральская вавилонская



Четвертый том уральской антологии, вышедший традиционно через семь лет после предыдущего и, что принципиально, в новом дизайне, подчеркивающем статусность напечатанного, выглядит как очередной этап в проекте Виталия Кальпиди по репрезентации и разметке уральской поэзии.

На предыдущем этапе был представлен не только 3 том антологии (2011), но и энциклопедия «Уральская поэтическая школа» (2013), собравшая под одной обложкой сведения о более чем сотне авторов, проживающих преимущественно внутри символического треугольника Екатеринбург–Пермь–Челябинск, с учетом несуществующего угла в виде Нижнего Тагила. Новый том расширил географию за счет небольших городов Урала и увеличил численность фигурирующих в проекте авторов.

В антологию 2018 года вошли 74 поэта, из них – 32 не присутствовавших в предшествующих версиях антологии, но проявивших публикационную и литературтрегерскую активность в последние годы.

Каждый том «Современной уральской поэзии» имеет собственное целеполагание, и четвертый – не исключение. К примеру, книга, увидевшая свет в 1996 году, представляла «другую поэзию», так называемый уральский андеграунд, идейно и эстетически противопоставленный

советской поэзии, хотя, по факту, даже в региональном изводе та была очень разной. Антология фиксировала слом традиции и являлась своеобразным литературным прорывом, положившим начало переформатированию поля уральской поэзии.

Второй том можно назвать попыткой сборки Уральской поэтической школы (УПШ) как литературного феномена. Причем довольно убедительной – о школе заговорили, начали осмыслять как целостное явление, ее поэты стали известны за пределами региона. В третьем томе был обозначен молодежный слой региональной поэзии, на первый план вышла смена поколений в рамках УПШ. Именно после его выпуска и тем более энциклопедии, когда обнаружилось, что поэтов на Урале больше, чем вмещает среднестатистическая поэтическая школа, Виталием Кальпиди была рождена концепция Уральского поэтического движения (УПД), не обязывающая ни к ограничениям численности авторов в проекте, ни к поиску какого-либо единого художественного основания в их поэтических практиках. Четвертый том в этом отношении окончательно зафиксировал стратегический переход от концепции УПШ к УПД и в целом артикулировал экспансионистскую стратегию Кальпиди, ныне принципиально работающего с разнообразными формами письма.

В 4 том попали авторы, ранее не представимые в антологии, в том числе не связанные поколенческой преемственностью с поэтами УПШ, не имеющие общих эстетических программ, не упоминавшиеся в одних контекстах. В частности, не раз манифестировавший свою неприязнь к верлибру, свойственную поколению поэтов-восьмидесятников, составитель антологии не стал отказываться от репрезентации форм свободного стиха. При этом Кальпиди преодолел некоторую некогда имевшую место брезгливость в отношении поэтических практик, генетически связанных с советской поэзией, тем самым инсталлировал в проект полюса, чьи силовые линии направлены на жесткое отторжение друг друга. Думаю, многочисленность и разнообразие явленных в томе опытов письма – вплоть до политических, контекстуальных и стилистических полюсов, свидетельствует даже не об актуальности концепции УПД, но о предельно широком пространстве уральской поэзии как таковой. 4 том обнажает процесс фрагментации и, я бы даже сказала, атомизации региональной словесности, существующей в ситуации, когда символические полномочия постсоветских литературных институций все очевиднее редуцируются, а альтернативные проекты, направленные на объединение большого количества авторов, не всегда имеют для моделирования литературного поля достаточных оснований.

Скажем, именно после прочтения антологии 2018 года мне стала очевидна необходимость обособления группы екатеринбургских и челябинских поэтов (см. статью «Второй уральский андеграунд» в № 134 журнала «Литература»), ориентированных на новейшие актуальные практики, не связанные с уральским мейнстримом или тем, что стало мейнстримом благодаря литературтрегерской работе старшего поколения поэтов УПШ.

Некий элемент самодискредитации или, что точнее, самоостранения вмонтирован непосредственно в антологию. Среди ее авторов без труда находятся откровенно фейковые Братья Бажовы и Я_Аноним. Их конструирование как авторов (больше – постмодернистских скрипторов) объясняется состоянием современного поэтического пространства, в котором находится место как мистификациям, так и анонимной поэзии (отсылка к проекту «Русская поэтическая речь»). Тем более что подборки анонимов представляют некоторую универсальную модель уральского поэтического дискурса, по крайней мере, такой, какой ее хочет видеть Виталий Кальпиди. Это «голубое сало» уральской поэзии связано с ощущением обработанности модели, являющейся, скорее, поэтическую реальность предыдущих этапов жизни проекта – 2 и 3 томов. Возможно, затем и оно потребовалось Кальпиди, чтобы было от чего уходить в составлении нового тома, через что переступить.

Что касается самой идеи пребывания-в-движении, то она уже по праву может рассматриваться как конструктивный принцип уральской антологии, от которой во всякой ее семилетней

итерации ожидается обновление литературтрегерской стратегии составителя, а также некоторое количество дополнений к основной поэтической программе.

В 4 томе Виталием Кальпиди была продолжена работа по картографированию современной поэзии, теперь не ограничивающейся для него Уралом, Россией и даже пространством русского языка. Важной особенностью тома стала публикация переводов, которые специально по случаю составления книги подготовили уральские поэты, что расширило и ее географию — здесь фигурирует большое количество стран — от Великобритании до Сингапура, от Франции до Казахстана — и список включенных в нее поэтов. В антологии оказались в том числе авторы, тексты которых были впервые переведены на русский язык. Примечательно, что проект не выдвигал требований к техникам и особенностям перевода — и здесь читателя ждет все то же многообразие, сотканное, ко всему прочему, из индивидуальных поэтических стратегий переводчиков-поэтов.

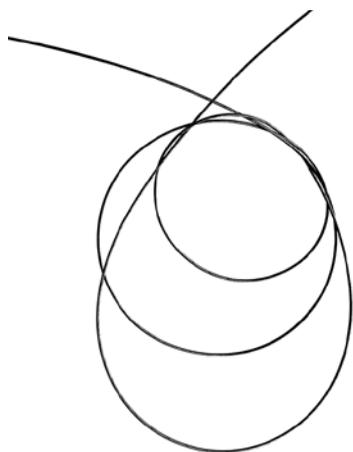
Как предполагает Кальпиди, переводы — инструмент, работающий на включение региональной поэзии в мировые контексты, а также мотиватор для поэтов из других стран переводить тексты уральских авторов — отсылка к еще одному проекту — «Жестикуляция» (см. книгу «Воздух чист...», 2018), направленному на создание «мировой поэтической корпорации на основе единого языкового пространства». Не хочется комментировать «Жестикуляцию», замечу лишь, что всякий раз, когда речь идет о проектах Виталия Кальпиди, так или иначе возникают и настойчиво обозначают себя черты утопического мышления. В этом смысле антология 2018 года оказалась носителем двойного утопизма, с одной стороны, связанного с попытками создания целостного кластера уральской поэзии, с другой — его интеграции в систему мировой поэзии.

И последнее. Для меня, наверное, важным и вполне реалистичным параметром нового тома «Современной уральской поэзии» стал гендерный баланс среди авторов (половина которых — женщины), вообще-то характерный для современной поэзии и — шире — литературы, но в провинциальных контекстах доселе неочевидный.

*Антология современной уральской поэзии. 2012–2018 гг. / ред., сост. В. О. Кальпиди.
— Челябинск: Издательство Марины Волковой, 2018*

Сергей Сенковский

Искусство ускользания



Ключевой год XX века — карнально-революционный 1968-й. Спустя полвека это начинают признавать все, подводить итоги, дивиться длительности влияния на всю последующую историю да умонастроения. Одной из важнейших идей, тогда застолблённых в коллективное сознание, стала Смерть Автора. Французские философы-структуралисты дружно забили большой осиновый кол. Но и ранее существовали активные практики ускользания автора от читателя-зрителя, всегда было искушение поиграть с ним в маски.

Принято считать, что псевдоним — это псевдо-имя, ненастоящее, придуманное. Верна лишь последняя характеристика: придуманное. Но ведь все имена в принципе таковы, так что это несущественный признак, ничего не говорящий. А по поводу остальных надо ещё поглядеть. Например, родители назвали человека Вадимом. Став журналистом, он всегда подписывается Иннокентием. Где тут настоящее имя? Боевой быстрый Вадим (как в паспорте) или мягкий протяжный Иннокентий (каким себя ощущает по характеру сам человек). Скорее, псевдоимя — Вадим, совершенно не соответствующее своему носителю.

Причин появления потребности в замене имени — три. Недовольство несоответствующим именем, уверенность-неуверенность в собственных силах, игра. С недовольством примеры приведены. Осталось уточнить, что соответствующее имя не у всех сразу находится. Некоторые

долго перебирают варианты, иногда похожие (но ищется поточнее), иногда — пробуя наудачу совсем разные в надежде набрести на искомое. Бывает, что имя скрывают из-за неуверенности в себе, боятся неудачи и на всякий случай подстраховываются. С такими всё понятно. Хотя иногда в случае успеха новое имя закрепляется за носителем. Другие, наоборот, настолько уверены в реакции на свои творения, что для чистоты эксперимента очищают свои новые начинания от шлейфа возможных ассоциаций, выступают как некто иной. Так любимец публики, властитель умов Борис Акунин становится Анной Борисовой, а Ромен Гари — Эмилем Ажаром.

Меняется часто не только имя, но и стиль, стол, пол. Чтобы читающий воспринимал «с чистого листа», как произведение неизвестного ему автора, с которым ещё не связаны никакие эмоции. Восприятие при этом более адекватное, хотя в случае просачивания информации про псевдонимность возникает у читателей и полудетективная интрига, желание разгадать, кто на самом деле скрывается за пологом тайны. Очень часто смена имени происходит в процессе игры разного порядка. Так, один автор в разных проектах существует под разной личной (что внешне, но не типологически близко вышеописанным случаям). Особенно популярны игровые модели у так называемых «серьёзных авторов», которые решают пошутить, порезвиться, похулиганить. Заняться высмеиванием-пародированием чего-то, в том числе (высший пилотаж иронии!) самих себя в привычном качестве. Форум всем даст уважаемый религиозный философ Владимир Соловьёв, под своим либо чужим именем (типа князь Эспер Гелиотропов) издающийся над самым святым, иногда посылая друзьям-редакторам лирические стихи-откровения с приложением точной автопародии: «Вы свидетель, что я первый бросил в себя камень».

В цирковой либо авангардной среде игровые псевдонимы — дело не маргиналий, а основного русла работы, здесь принято именем задавать соответствующий эксцентричный тон. Посев идей, образов, новых смыслов проходит под этим знаком. Читатель-зритель сразу включается в игру, начиная с обложки-афишки. В случае успешности представления псевдонимная область может расширяться, так обозреватели — а за ними и публика — превратили вполне реальную яркую фамилию Бурлюк в обозначение всех тогдашних футуристов: «эти бурлюки» (где имелись в виду не только братья-сёстры однофамильцы, но и Каменский, Маяковский, Шершеневич, прочие).

Псевдонимы существуют столько же, сколько и сам институт имён. Когда есть некая маркировка, появляются её заменители или имитация. Иногда они существуют параллельно, явно не соприкасаясь. Как ортодоксальный поп-математик Чарлз Латуидж Доджсон с абсурднейшим поэтом-сказочником Льюисом Кэрроллом. Всем памятен анекдот про то, как королева попросила принести все иные сочинения автора поразившей её «Алисы в Стране Чудес» и была оконфужена стопкой нуднейших трактатов. Что не вполне логично. Ведь Доджсон и Кэрролл — разные не только авторы, но и люди. Хотя и сосуществующие в одной материальной телесной оболочке. Иногда одно (более позднее) имя у человека вытесняет другое (урождённое). В том числе и в бытовой реальности. Николай Корнейчуков в итоге вписал в паспорт Корнея Чуковского, на могильной плите Давида Кауфмана указывается сменивший его Дзига Вертов, а Аркадий Голиков всем своим потомкам подарил пришедшую из литературного мира фамилию Гайдар.

Количество примеряемых на себя псевдо-имён никак не лимитировано. У старательного доктора Антона Чехова, например, официальные исследователи зафиксировали свыше полсотни (а сколько ещё неизвестно). Хотя остался в истории он в итоге под урождённым. Бывают устойчивые псевдонимы. Некоторые даже вырастают до размеров маски — придуманного существа со своим характером, биографией, внешностью. Классический пример — Козьма Прутков. Неклассический — Иржи Котишка.

Маска может быть результатом деятельности нескольких человек, иногда незнакомых друг с другом, даже очень сильно разделённых по времени-пространству. За того же Прут-

кова до сих пор сочиняют всё новые слова-идеи, хотя лучшими так и остались канонические. Есть случаи настолько запутанные, что не утихают споры даже об их классификации. Всем известный барон Мюнхгаузен рассматривается и как персонаж чужих произведений, и как автор своих собственных, и как коллективная маска, под которой пишут в разных странах уже не один век самые противоположные авторы. Взаимоотношения автора-маски-персонажа каждым толкователем (либо просто читателем-зрителем) решается по-своему, акцент делается на чём-то одном.

Отдельного разговора заслуживает анонимность, ноавторство, ничевочество в искусстве. Причины появления те же, что и с псевдонимами. Хотя мотив недовольства именем играет здесь последнюю роль, а на первую выходит (не)уверенность. Но так стало сравнительно недавно. До XVIII века вообще не существовало никаких авторских прав, плагиата, профессиональных писателей. Были, правда, получающие зарплату за то, что слагали гимны в честь приютившего их вельможи либо самодержца. Придворные поэты, так сказать. Но, поскольку при соседнем дворе за те же вирши не платили, то и настаивать на авторстве неких текстов в иных местах не имело смысла. С резким удешевлением книгопечатания и принятием авторских законов появились профессионалы. Целая улица в Лондоне (точнее – квартал) была заселена такими писаками. Придя на Граб-стрит, любой мог заказать от своего имени написать обличительный памфлет, любовное послание, научный трактат либо философские пассажи. Анонимные перья тут же принимались строчить. Заказчик выпускал текст либо тоже анонимно, либо под псевдонимом, либо под своим именем. В этом не было ничего унижительного для пишущих. Они мастерски производили и поставляли человеку присваиваемый им нужный продукт, точно так же, как пекари и портные. Парадоксальным образом данный опыт воскрес, например, в практике обэриута Николая Олейникова, который одни и те же тексты прилюдно посвящал разным лицам, торжественно сменив адресата любовного послания.

Вслед за поэтами-пекарями эпох Классицизма и Просвещения шумной толпой ворвались романтики с их культом творчества, личности, уникальности. Каждый человек объявлялся по сути неповторимым, творящим новые миры только ему подвластными средствами. Подобие стало дурным тоном, не говоря о прямом заимствовании, воспроизведении (что на Востоке до сих пор – признак мастерства). При таком культе автора-демиурга анонимность становится почти маркировкой маргинальности. Когда автор сознательно избегал встречи с читателем лицом к лицу. Начинающие слуги Парнаса хотели увериться в значимости того, что они натворили. Опытные интриганы не хотели неприятностей от объекта своих безымянных нападок. Толковые маркетологи таинственно заигрывали с общественным любопытством.

Существует, кроме личной анонимности, ещё и групповая. Это пограничное явление смыкается с псевдонимностью, поскольку конкретные авторы, сохраняя своё инкогнито, выступают не от конкретного имени, а от группы, подписывая творения общим ником: ДАДА, Мухомор, НОЖ, ОДЕКАЛ, Ситуационистский Интернационал, т.п. Визуальным эквивалентом выглядит выходящий на сцену отряд молодых людей в одинаковых костюмах, причёсках, эмблематике. Конструктивисты ЛитЦентра в белых свитерах с чёрным квадратом. Ничевоки в детских слюнявчиках и клоунских штанах. Футуристы с цилиндрами и разрисованными щеками. Униформа подчёркивала единость разности, объединяла многие личности в одну идентичность.

Полную анонимность, отчуждённость от автора объявляли в разные годы отдельные радикальные группировки: ЗАИБИ (За Анонимное И Бесплатное Искусство), ОБМОХУ (Общество МОлодых ХУдожников), РОСТАН (РОссийское СТАновище Ничевоков), др. Но, по сути, на заявленной позиции продержались они недолго, почти сразу выступая от лица конкретных Бонифация, Рюрика Рока, братьев Стенберг, т.д. Самая последовательная и длительная практика у пермской группы «ноавторов из Ырла». В основе их идей коллаж метафизических прозрений читаемых Андреева-Гурджиева-Жарикова, игаемого ими панк-рока да психодэла, литературных да художественных акций родной им арт-коммуны Опыты ДЕтективирующих

КАльмаров. Ноавторство поддерживается почти всеми участниками арт-коммуны, но вышеуказанная группа (троица в основе) наиболее упряма в своих экспериментах. Вместо подписи ставят чёрную палочку, сжигают законченные рукописи и картины, безвозвратно дарят романы первым подошедшим сразу после прочтения на литературном вечере, готовые в одном экземпляре раритетные книжки «отправляют в Ырл», то есть бросают в колодцы, люки, реки.

Искусство ускользает не только от своих создателей, но и от потенциальных воспринимающих. Кто знает, где оно теперь? На что в мировой системе повлияло, что изменило в логике миропорядка, в последовательности причинно-следственных связей? Но что-то в любом случае произошло, пусть мы и не знаем про это. Не призываю никого следовать примеру чернопалочников, но такие исследования на краю рационального рано или поздно должны были проявить себя. Не зря же ещё в 1968 торжественно провозглашена Смерть Автора.

Между клише и кушеткой

Михаил Куимов. *Хребет: книга стихотворений*. — Пермь: Арт Модерн, 2019



Поэт Михаил Куимов живёт в Соликамске, пишет не первый год, активно публикуется. Михаил энергичен, немного авантюрист, регулярно участвует и побеждает в поэтических слэмах, сам их организывает и вообще всячески пытается оживить среду обитания.

«Хребет» — первая книга автора. Она состоит из четырёх стихотворных циклов, первые два из которых — «Бункер» и «По спирали» — скорее всего, стихи разных лет, расставленные в хронологическом порядке. Какой-либо объединяющей их идеи обнаружить не получилось. Самый большой цикл, состоящий из двадцати пяти стихов, — «Двадцать четыре ноября». Антагонистом лирического героя в нём выступает одиннадцатый месяц

календаря. Последний цикл — «Колымские стихи» — написан, как можно догадаться, на Колыме или по следам проживания там. Иллюстрации, выполненные художницей Ольгой Молчановой, не диссонируют с текстами.

Разговор о стихах Михаила Куимова мне хотелось бы начать со следующей сентенции. Искусство, кроме познавательной функции, имеет ещё функцию психотерапевтическую. В первую очередь — для автора. Особенно это относится к поэзии, где в последнее время проговаривание всевозможных душевных (и не только) травм — чуть ли ни основной творческий метод. Именно поэтому чтение стихов — занятие куда более трудоёмкое, нежели их написание.

Большинство начинающих поэтов воспринимают поэзию как некое откровение свыше. Начинающий поэт уверен: первое, что пришло на ум, и есть то самое, «настоящее», «пронзительное», «щмяющее». Работа с текстом представляется ему исключительно как необходимость зарифмовать некоторые смутные мысли и чувства, вогнать их в размер или ритм. В этом зачаточном состоянии остаётся подавля-

ющее большинство провинциальных самодеятельных авторов, нашедших себя в искусстве.

Циклы «Бункер» и «По спирали» отмечены присущими начинающим самодеятельным авторам высокопарными оборотами и неряшливостью исполнения. «Вкусив наречия разлив», «соблюдение правил приличий», «утратив бесценный бит», «О воспрянь! Ужаснись и узри...», на мой взгляд, не самые удачные обороты в стихосложении, и у меня, как читателя, вызывают лишь чувство неловкости. Также встречаются факультативные образы и обороты, замена которых не поменяет смысла строк: «роковая долька» легко заменяется на «польку», «то ли зациклился круг» — вообще ни в какие ворота, всё тот же «бесценный бит» заменяется «поблекнет, не заблестит» или «разложится электролит», «и будущего гранит» может стать и троглодитом, и магнитом, «из прошлого сделай плот» — почему не сразу флот? Последние три примера взяты вообще из одного стихотворения.

Традиционные и набившие уже оскомину образы города, как чуждого и враждебно-

го лирическому герою мира, дождь как метафора плача: всё это, полагаю, хоть раз в жизни использовал каждый из нас, втайне полагая, что эти гениальные строки должны заставить весь мир зарыдать и покаяться.

Более всего все эти атавизмы и рудименты заметны в стихотворении «Льются звуки скрипки Паганини». Приведу его полностью.

*Льются звуки скрипки
Паганини.
Оттиски на первородной
глине
Новых лиц видны.
И цветы нежны:*

*Орхидеи, гиацинты, канны.
Гул земель и рокот океана,
Солнечный кульбит –
Празднество бурлит.*

*Светотени, плавные
на редкость,
Зрение, утратившее резкость,
Сглаженный рельеф.
Волхв заходит в хлев.*

*Легкость и воздушность.
И прохлада.
Радостно приветствует
Паллада
Первенца у врат.
Я ей тоже рад.*

*Новая невинная эпоха,
Выдоха не знавшая и вдоха,
Здравствуй, это я
Из небытия.*

Стихотворение целиком состоит из штампов, хотя образы, в первом (и втором) прочтении казавшиеся случайным нагромождением неочевид-

ных метафор, в конце концов, усилием ума и напряжением эмпатии, выстраиваются в систему, и можно найти некую мысль, не новую, но удобоваримую.

Выспренность клише о скрипке Паганини, судить о звуке которой нам не дано по вполне объективным причинам, очень привлекают авторов. Упоминание в тексте Паганини (или Катерины Сфорца, или Моны Лизы, или ещё какой-либо значимой фигуры из истории мировой культуры) приподнимает автора в своих глазах и, кажется, в глазах читателей, сообщая, что мы тоже кое-что понимаем в искусстве. Впрочем, далее идут строфы об оттисках неких лиц на первородной глине, что наводит на мысль об акте творения, то есть Паганини здесь может выступать не как известный музыкант, а как образ Творца, некоего непостижимого идеала, величие которого не должно поддаваться сомнению. Нежные цветы, упомянутые в тексте, скорее всего, для рифмы и размера – это, собственно, и есть те самые оттиски лиц.

Гул земель и рокот океанов в свете упомянутого выше акта творения говорит нам о рождении иного божества, отличного от Паганини-Творца. И если слова «празднество бурлит» вполне понятны: божество появилось на свет, всё вокруг ликует, то предыдущая метафора – «солнечный кульбит» – ставит меня в тупик. Кульбит – это цирковой трюк, переворот с упором на руки. В переносном значении – крутой разворот,

неожиданная смена парадигмы. Что это? Пожалуй, натяну сову на глобус и предположу, что автор имеет в виду, что рождение божества всё вокруг изменит, и потому мир ликует.

«Светотени, плавные на редкость» я оставляю на совести автора. Светотень – это приём живописи, помогающий с помощью тональных переходов передать объём и пространство. Редки ли плавные переходы от светлого к тёмному и наоборот? Разве что в восприятии самого автора, и я готов допустить, что для него все границы резки. Но в таком случае следовало написать «свет и тени», а не «светотени». Ладно, допустим, что это опечатка, попробую воспринять строфу целиком. Вообще свет и тень, плавность рельефа и как бы сбитая резкость контуров присущи кисти Рембрандта, а волхв, входящий в хлев, недвусмысленно намекает о рождении Христа. Не о его ли рождении говорит нам автор. Однако орхидеи, гиацинты и канны если и связаны с мифом о рождестве Христовом, слишком отдалённо, по крайней мере, я связи не вижу.

Но что мы видим дальше? Полотно Рембрандта трудно назвать лёгкими и прохладными (хотя воздушность в них всё же присутствует). Неожиданно возникает Паллада (предположу, что автор имеет в виду всё же античную богиню мудрости, а не её сводную сестру, о которой мы мало что знаем), радостно приветствующая у врат

(эвфемизм женского лона?) некоего первенца. Если первенец — Христос, то почему его приветствует чуждая и даже противная христианству языческая богиня?

И тут возникает главный герой текста, тот, чьё рождение приветствует природа и боги — лирический герой, с которым автор, скорей всего, ассоциирует себя. В последней строфе мы можем всё свести к некому знаменателю: рождение стиха равно рождению поэта. Оттиски лиц в первородной глине — это стихи, и одновременно с этими стихами из врат бытия — оттого и гул земли и ропот океана, появляется поэт, то есть стихотворение — это не только сотворение стихов, но и сотворение самого автора.

Как видите, глубину мысли и некую мораль можно выскоблить из любого текста. Имел ли в виду автор всё то, что попытался вытащить из его текста читатель? Да бог его знает, вполне вероятно, что всё это написано от фонаря. Но Михаил не бездарен, потому мне кажется, что что-то подобное он мог подразумевать, пусть и не отдавая себе отчёт.

Интересно и то, что в тексте мы наблюдаем ярко выраженный сбой ритма. Как правило, такой приём не используют просто так, он должен что-то значить. Торжественность первых двух строк нивелируется попсовым «тили-тилибом» двух вторых. Автор пугается того, обладателем чего вдруг стал, пытается увести в шутку, скоморошество. Почему? Могу предположить, что

наличие богатства подразумевает два варианта развития событий: его преумножение, сопряжённое с усилиями, и его разбазаривание, связанное, соответственно, с безответственной тратой на пустяки. Автору льстит обладание кладом, но готов ли он пустить его в дело?

Сменим угол зрения. Не юношеской даже, а подростковой игрой в смерть и со смертью чуть менее чем полностью наполнен цикл «Двадцать четыре ноября», более зрелый по форме, чем «Бункер», но по содержанию, увы, повторяющий шлягер 90-х «Больно мне, больно, не унять эту злую боль».

Михаил в посвящении недвусмысленно даёт понять, что перенёс потерю близкого человека. И тут возникает один щекотливый момент, который меня всегда очень интересовал. Я не отрицаю, что травма может служить толчком акту творения. Но может ли она быть оправданием этому акту?

Можно лечь на кушетку и доверить свою боль специалисту. Иногда можно рассказать другу (если вы не очень любите этого друга). Можно сделать то же самое не на кушетке, не за рюмкой чая на кухне, а за письменным столом. Но когда вы предлагаете эти записи постороннему читателю, вы уподобляетесь пользователю социальной сети «Одноклассники», который постит чумазых зарёванных малышей или безногих щеночков с подписью «Ставь класс, если у тебя есть сердце». Что на это отве-

тить? «Страшно жить на белом свете, в нём отсутствует уют...»

Особо хочется сказать о заключительном цикле книги. Михаил геолог по образованию, вахтенным методом работает на Колыме. Тяжёлая работа в суровых условиях вечной мерзлоты может стать для него, на мой взгляд, лучшим фильтром, очищающим поэтическую речь от мусора. В «Колымских стихах» он уже пытается победить нарочитую усложнённость, хотя и малоуспешно. Автор остаётся один на один с собой и начинает упрощать структуру своих взглядов на жизнь. Здесь есть только работа и примитивные потребности в еде и отдыхе. Связь с привычным миром фрагментарна и иллюзорна, отчего то, что казалось важным и принципиальным в большом мире, утрачивает важность и принципиальность.

*Всё это больше ничего
не стоит,
А стоило убийственных
трудов.*

Поэзия постепенно возвращается в своё первозданное дикое состояние: она исследует природу вокруг вместе с автором.

*Шагаю по болотному ковру
Вдали от благ и прочих
мракобесий.
Как сбрасывает листья
редколесье,
Так я с себя снимаю мишуру.*

(хотя мне кажется, что вместо «мишуры» здесь лучше смотрелась бы «кожура»).

тонкий, прозрачный, полный неосязаемой красоты, напоминающий водную гладь. Периодически отражающую то распадающееся тело и страх смерти, то всеобщее единение и дыхание толпы.

Неслучаен и феминизм (Нина не скрывает, что она феминистка): если понятие «сестры» присутствуют лишь в трёх текстах из 25, то женщины упоминаются почти во всех стихотворениях. Коллективное переживание страшной реальности, страхов, кошмаров, болезней становится жизненно необходимым и присутствует везде: это и существование на митинге, это мертвые и живые сестры, оно (сопереживание) нужно, чтобы, в конечном счете, прийти к индивидуальному восприятию.

*мои сестры кости и кровь
коллективное тело
сильные и прекрасные
мертвые и живые
боль одна и дыханье одно
на всех*

Именно сосуществование в мире с другими, с сестрами, и помогает обрести собственную цельность, полюбить себя в своей слабости. Причем нам стоит помнить о том, что это диалог прежде всего с женщинами, мужчины вторичны, если и появляются, то на фоне событий и переживаний, в то время как женские образы являют себя в центре мира внешнего и внутреннего:

*стихи про любовь
не к мужчине
безо всякой эротики*

*без секса и объективации
к сестрам
к каждой женщине
твоему зеркалу
такой же уставшей*

Интересно и то, что только коллективное тело можно обозначить как цельное, как единое, биологическое же тело, как правило, никогда не предстает здоровым, полноценным, это всегда мозаика, слабое и ненадежное сооружение, за которым прячется внутренний ребенок, тот самый сухой каштан из сна.

Нельзя не сказать и о тексте «или ночью лежать у открытого настежь окна», совершенно непохожего на предыдущие стихи и выделяющегося и в рамках данной книги: дело тут не только в графике, но и в том, насколько оно живое, несколько истеричное, сублимативное, словно и в самом деле перед нами ухваченный ртом воздух, кадр или стакан за секунду до падения на пол. Начиная с этого стихотворения настроение книги меняется: меланхоличный распад тела и мира вдруг сменяется живым непрекращающимся движением жизни, ее водоворотом. Игры со звуком будут и в других текстах, вероятно, они нужны еще и потому, что меняется сама природа поэтического слова: важно не говорить, а ощутить, пережить:

*никогда не рассказывать
как нежно щебечет
расколотый движется лед
по москве-реке
как тихо выдохнув лопнули
тополиные почки*

*как влетаешь в рассвет
и черные звезды
заглядывают в глаза
**
губы срослись, бесполезный
язык*

В другом своем тексте Петесса и вовсе открыто проясняет главное: нежелание тратить драгоценное время и вечное ощущение себя в центре карнавала:

*все должно быть немедленно
в один выдох в один сезон
больше времени не отпущено
значит только
предельный надрыв
нескончаемый карнавал*

Мир в его бесконечном изменении, влюбленности, весна — всё это своего рода противоядие против смерти, возможность «никогда не умирать». Это обостренное ощущение мира вокруг станет особенно очевидно во второй части книги.

В дихотомии мужского и женского принципиальным является то, что мужчина ассоциируется с сексом, с объективацией, с телом, в то время как женщина — чистый дух, душа. Тут невольно вспоминается цветаевское «Письмо к Амазонке», где любовь двух женщин — соединение душ без тела. Описание мужчины максимално объективировано:

*бесконечная эrogenная зона
на ладонях
секс это гладить руки друг
друга
обещанные никогда
не сбывшиеся объятья*

*замирая от восторга
перед этой
юной тестостероновой
эгоистической красотой*

Переживания, связанные с мужчиной, эгоистичны, откровенны, в то время как диалог с женщиной — это всегда эмпатия, сопереживание, сопричастность (к слову, это соотносится и с феминистическими установками автора).

Два ключевых состояния человека, что особенно наглядно в тексте «Идентичность», — это страх и боль, причем боль почти всегда сопутствует любви, а страх — смерти. Самый большой страх — остаться незамеченным, раствориться — преодолевает только память, потому так скрупулёзно поэтесса перебирает семейные воспоминания. Быть может, память и есть тот самый «пылающий череп в онемевших руках».

Вторая часть книги очень часто отсылает нас к детству, конструируя каждую мелкую деталь, Нина словно дает прошлому оттенок бессмертия, делает его символически переполненным. В реальном мире волшебства стало значительно меньше, потому что оно, настоящее, беспощадное и неизвестное, рождает еще большее ощущение страха, в то время как прошлое успокаивает, оно уже расшифровано, прожито и навсегда увековечено. Все вокруг заклинали собственной боли, кто с помощью таблички в переходе, кто с помощью поэзии, каждый по-своему заглушает ее, все страдают, болеют, боятся. Здесь это очень важно,

это вновь коллективный ужас, кричит каждый, кричат все:

*это не листья шуршат это
время
идет по тебе как по листьям
мнет переламывает
всем страшно
всем*

Третья часть книги в какой-то степени отсылает к «Небесному погребению»: звери, волшебство, нечто невесомое и несколько далекое от реальности. Как будто предыдущие две части были слишком откровенными, болезненными, нужно было куда-то спрятаться, а потому все немного сказочное, посыпанное мукой или пудрой, прикрытое мягким обволакивающим ритмом и образностью.

Наконец, четвертая, финальная часть начинается с текста, в котором объединяются боль и память, как способ обрести целостность, селфхарм (самоповреждение, — прим. Редакции), в некоторой степени это и способ обозначить свое существование, превратить глухую психологическую боль в физическую, сделать ее заметной, а значит, и себя видимым. В то же время шрамы, как зарубки на дереве, не просто делают существование героя осмысленным, но и приближают к смерти. Здесь чувствуется некоторое противоречие, лейтмотивное не только для конкретного стихотворения, но для всей поэтической книги. С одной стороны, страдают все, и перед нами коллективная боль, с другой — ты бесконечно одинок в своей боли, и все твои шрамы плот-

но спрятаны за тканью. Перед нами словно несколько лирических героинь: одна смело смотрит реальности в лицо и распознает боль каждого, вторая — напротив, сидит в позе эмбриона и робко прячет собственную ранимость:

*клинопись на коже чтобы
никогда не забывать
зарубки чтобы не заблудиться
в этом лесу
черточки чтобы
отсчитывать
дни.*

Композиция книги неровная, напоминает маятник, в начале героиня отрицает смерть и пытается отстраниться от страха смерти но к концу вновь поддается ему. Так, перед нами «взрывается самолет», мы видим, как работает одинокий изолированный мозг, коллективная идентичность сменяется индивидуальной. Уже известный читателю текст о кошке (его по праву можно назвать визитной карточкой Нины Александровой, в особенности если мы говорим о предыдущем периоде творчества) дополняется новыми строчками, графически отмеченными курсивом и данными в скобках:

*(но и этого скоро не станет —
растворит без остатка,
смоет тебя без следа
пустой тихий берег — со всех
сторон, нежно галькой
шуршит схлынувшая вода)*

Важно и то, что к животным автор относится с теплом, они никогда не представля-

ют угрозы, скорее являют собой молчаливых свидетелей времени, в случае с текстом «кошка мгновенно выворачивается наизнанку» это еще и собеседник. Реальность предстает как сказочное пространство, в том числе и благодаря всем живым существам:

*черное небо оборачивается
волком лисой назад*

**

*бьются звери в руках
щука в моих висках*

*справа бобер
слева горностай*

Возвращение к себе, к собственной идентичности зачастую оказывается связано с землей: именно она принимает лирическую героиню и боль каждого, именно в ней остается искаленное слабое человеческое тело:

*земля говорит:
я укрою и обниму*

**

*гудение пульс
чёрная нутряная земля
изнанка тела
каждой сестре сестра
наш шелестящий голос
будет твоим навсегда
единственное
тело
остаётся*

Единение с землей — это вместе с тем и единение с языком, превращение в язык.

Егана Джаббарова

Роман журналиста

Любовь Соколова. Последние. — Пермь: «Траектория», 2017



Роман «Последние» — вторая художественная книга Любови Соколовой, но назвать автора «молодым писателем» язык не повернется: читающая Пермь давно и хорошо знает её по многочисленным газетным и журнальным материалам. Подобно многим коллегам, в журналистику Соколова пришла не с филфака; почему-то среди пермских журналистов довольно мно-

го людей с инженерным и медицинским образованием. Любовь Соколова — как раз из тех, кто переквалифицировался из просто инженеров в «инженера человеческих душ». Это важно, потому что сейчас, дозрев до писательства, она активно опирается на свой личный опыт — и заводской технический, и журналистский. Вообще, слова «профессиональный журналист» очень многое объясняют, когда речь идёт о прозе Соколовой.

Её первая книга — сборник рассказов «Записки взрослой женщины» — уже радовала читателя крепкой зрелостью художественного текста, современной интеллигентностью — при этом без всякой старомодности — и лёгким налётом ностальгичности (речь шла о студенческих годах

автора, увлечении туризмом и первом опыте работы на заводе), сглаженной замечательной иронией и чувством юмора как по отношению к советской реальности, так и по отношению к самой себе. Эта взвешенность, соразмерность разнонаправленных начал, красивая и гармоничная «сумма векторов», когда нигде нет пережимов и пережжённости, пафос, ирония, здравый смысл, мягкость и жёсткость дополняют друг друга в правильно отмеренных дозах — очень обаятельное качество начинающего писателя, которое обычно приходит лишь вместе со зрелостью творчества.

Новая книга «Последние» отличается теми же качествами, ещё более выраженными, ведь на сей раз речь идёт не о сбор-

нике рассказов, а о большом романе, почти эпосе: 460 полновесных страниц, действие охватывает промежуток времени от Октябрьской революции до миллениума, 39 персонажей с именами и судьбами, Урал, Санкт-Петербург, Германия...

Такой географический и исторический разброс в сочетании с жанром романа обязывает. Речь в книге идёт о судьбе семьи российских немцев, и здесь, в отличие от автобиографических рассказов, Любовь Соколова никак не могла положиться лишь на личный опыт: нужно было сделать большое «домашнее задание», и писательница его сделала. Устройство традиционной усадьбы российских немцев и уклад жизни в дореволюционной немецкой слободе, передвижение красных и белых войск на севере Пермской губернии зимой 1918/19 года, топография Дюссельдорфа, святочные гадания в уральской деревне и быт охранников ГУЛАГа — множество специальных знаний потребовалось для написания романа, и чувствуется, что автор немало времени провёл в архивах и тщательно подбирал консультантов. Эта фактурность, наполненность жизненными деталями — отличительная черта «романа журналиста»: видна, как говорит сама Любовь Соколова, «привычка работать с фактами», а также любовь к достоверности, к подлинности и подробности фактуры, которая непременно присуща качественной журналистике.

XX век, по словам Соколовой, богат фактами — самыми разнообразными, «вплоть до невероятных». Невероятное в книге, разумеется, присутствует: вряд ли какой-то большой роман XXI века может обойтись совсем уж без фантастики или мистики. Сама писательница говорит, что её любимая глава — о девичьих гаданиях. Она действительно радует читателя: тут и родной прикамский колорит, и настоящее святочное волшебство, и совершенно лубочный, посконный такой юмор. И — главное — всё, что нагадали, сбывается, но сбывается вовсе не так, как мечталось девушкам. Судьба, как обычно, лукава.

Тема российских немцев появилась ещё в «Записках взрослой женщины»: Любовь Соколова родом из Краснокамска, где таких жителей в советское время было довольно много, и ещё в школьные годы она близко общалась с ними и прониклась их судьбами. Главное, наверное, достоинство этой прозы — в умении заразить читателя этой проникновенностью, передать через слова, буквы и знаки препинания искреннее чувство, которое автор испытывает по отношению к своим героям.

Впрочем, пермскому читателю по определению будут близки эти герои и связанные с ними события: «Последние» проникнуты «пермскостью», наполнены названиями, именами и событиями, которые не могут оставить пермяка равнодушным.

То, что роман называется «Последние», связано с приведённой в книге коми-пермяцкой легендой о царе Коре и птице Рык: когда наступает конец времён, надо позвать птицу Рык, и она спасёт последних людей — укроет их своими крыльями и унесёт в безопасное место. Но кого именно спасёт, кого унесёт? Птица Рык сама выбирает, и вовсе не обязательно спасённые окажутся праведниками, а погибшие грешниками. Может оказаться и наоборот — выбор птицы Рык неисповедим.

Эту легенду, так и дышащую аутентичностью, Любовь Соколова узнала из дореволюционного сборника «Чердынских преданий», изданного этнографом Каллистратом Фалалеевичем Жаковым. Незримо присутствуют в книге и другие знатоки прикамского фольклора: так, песню о деревне Фадиной поведал писательнице профессор Георгий Чагин, уроженец окрестностей той самой деревни. События «Последних», связанные с Гражданской войной на севере Прикамья, перекликаются с главами книги Чагина «Колва. Чусовское. Печора. От 1917 до 1940 года» — второго томаopus magnum незабвенного профессора, посвящённого его малой родине.

«Последние» — семейная сага, рассказывающая о судьбе нескольких поколений и нескольких ветвей семьи Бауэров-Эргардов. Их предки прибыли в Россию ещё во времена Екатерины II и жили привычным укладом,

поражая русских соседей аккуратностью и справностью хозяйства; а тут — мировая война, революция, репрессии, снова война... Понятно, что родственники разлетелись по миру, с болью разрывая кровные связи.

Основным источником информации для Любви Соколовой послужили мемуары советского немца Якова Фогеля, однако он — не единственный прототип главного героя, их как минимум двое. Ещё один источник вдохновения — судьба семьи мужа писательницы Бориса Соколова, дед которого был жившим в России китайским коммунистом и, разумеется, сгинул в период репрессий. Любовь Соколова посвятила книгу мужу, и это многое говорит и о чете Соколовых, и об авторском понимании семейных ценностей.

Как и положено большому многофигурному роману, герои в процессе написания книги проявляли своеволие, некоторые вообще явились в текст незваными. Есть и герои, которые сохранили свои реальные имена — например, Роман Аликин, который появляется в тексте три раза. Это младший брат бабушки писательницы, который пропал на войне без вести. Осталось только это имя, и теперь оно запечатлено — не на памятнике, так хоть в романе.

Если попытаться обозначить вкратце, о чём эта книга, получится классический для литературы XX века конфликт — разрыв родственных связей, когда единоутробные братья, не зная друг друга, оказываются по разные стороны смертельной границы: один — палач, другой — жертва. И, само

собой, обратный процесс — поиск корней, поиск родства, поиск новой братской любви. Это, конечно, не хэппи-энд, но свет и надежда.

В книге есть всё, что должно быть в большом романе: характеры, судьбы, история и география; своеобразный язык, интеллигентный юмор, удивительная лёгкость пера, которая делает роман очень читабельным. И есть то, что сама Любовь Соколова считает неперемнным атрибутом этого жанра, — любовь. Правда, любовь писательница понимает своеобразно: «Роман — всегда о любви. И не только о любви гражданина к Родине, но и о любви Родины к гражданину. Это случается редко, и в моей книге так и не случилось».

Юлия Баталина

Свести несводимое

Нина Горланова. В детские края: книга стихотворений. — СПб: «Формат», 2018

Когда общаешься с Ниной Горлановой, внимаешь ею транслируемым словесным фигурам, поражаешься тому, сколько бед и забот может сразу свалиться на одного человека. Одну частицу космоса. Которая от всего этого должна просто взорваться. Разлететься на триста кусков в разные стороны. Пока она отдавалась прозе — так и было. Быт, тяжёлый — давящий — угнетающий быт не давал быть. Собой, писателем, человеком. Быт

вёл за собой, тыкал корявым пальцем с обгрызанным ногтем в белые листы ещё не омрачённой бумаги и требовал: «Эй, ты, пиши сюда! Пиши обо мне! Остальное несущественно!» Некоторые утверждают, что горлановская проза представляет запись реальных событий и некоторого количества разговоров: «А вот это я сказала... А тут у него такая реплика была... А потом мы ещё выпили...» В общем, репортаж с петлёй быта на шее.

Затем появились картинки. Писательница стала создавать акварельки-гуаши-маслёнки вроде бы самого бесхитростного вида. Они поражали и сами по себе и, особенно, — рядом с прозой того же автора. Поражали лёгкостью, воздушностью, летучестью. Мир в них отражался не бытовой, а чудесный. Рыбы (огромное количество самых разных цветов-оттенков-размеров) были не теми рыбами из захудалых провинциаль-



ных гастрономов, которые могли употреблять в «процессе поглощения питательных веществ» (именно так!) персонажи рассказов. Это сказочные водные существа, плещущие в яркой стихии, а если и попадающие на человеческий стол, то вкушаемые (никак не меньше!).

Ахматова в горлановских портретах больше похожа на циркачку французской или итальянской труппы эксцентриков, чем на невскую заунывную полумонахиню, много чего понимающую в этой грешной жизни — такова старательно продуманная авторская аватара одесситки Анны Горенко. В Дягилеве той же кисти — никакого декаданса, мирискусничества, модерна. Сплошной фовизм, ирония, экспрессия. И по всей горлановской живописи шагал Шагал с бокалами Пиросмани и подсолнухами Ван Гога в добрых руках. В общем-то, не будем делать прохладную мину отстранения и перебирать чётки структурализма, тут мы честно признаёмся в предвзятости: этот мир нам ближе, роднее, интереснее. В нём хочется жить.

А потом появилась поэзия того же автора. Возможно, она и раньше была, но где-то под спудом. И вдруг — прорвало. Вроде бы, ещё с 1986-го идут стихотворные публикации в толстых журналах. Но вот мы недавно настоятельно рекомендовали рецензируемую тут книжку увлекающимся университетским филологам, а в ответ: «Оказывается, Горланова ещё и стихи пишет?!» До сих пор мало кто знает. «Мои стихи мне неподвластны, / А сами тянут за язык», — честно признаётся автор. И не зря тянут. В их сети попадает всё подряд: от бытовых наблюдений до религиозных откровений, от разговоров с близкими людьми до впечатлений от прочитанного философического труда. Всё то, что раньше составляло основу авторской прозы, теперь стало ещё и базой декодировки реальности в результате неоднократной антологической поэтической рефлексии:

*Хотя бы раз прийти домой —
Сказать соседу: пол помой!
Но он пошлёт меня туда,
Где пол не моют никогда.*

Вроде бы, говорится про то же, что и в горлановской прозе. Но интонация смещает акценты в совсем другом направлении. Нет былой безысходности, чернушности, приземлённости. Это уже поэзия. То есть особый мир, который существует параллельно прозаическому, профанному, протяжному до невозможности в нём жить. Здесь иные законы:

*Прочёл чужой стишок —
И ты не одинок.*

Вся поэзия этого мира (не обязательно в виде стихов существующая) становится твоей частью. А ты становишься при этом частью поэзии. Дальше — больше.

*Хотела увидеть ангела,
Но увидела моль —
Что-то с моим зрением...*

Изящная хайка (хокку), которая сделает честь любому философически настроенному дзен-мастеру. Противостояние прозаического и поэтического миров выливается в наглядное противопоставление летучих образов ангела и моли. Ироничный пассаж последней строчки лишает конфликт частого в таких случаях пафоса, вставания на цыпочки мессиянства, пророчества, прочего. «Что-то с моим зрением», — констатация, на первый взгляд (каламбурно, однако). Но за этим встаёт такой мудрый стоицизм, что вся античная Академия идёт отдыхать в сень своих оливковых.

«Татьяна Бек считала, что мои поэтические корни растут из творчества Ксении Некрасовой. Я думаю, что скорее — из обэриутов. Смех сквозь слёзы — это моё», — итожит книжку поэта в попытке как-то обозначить свои координаты в литературном пространстве. Неслучайно она неоднократно признавалась в любви к одекаловским строкам (пермская арт-группа ОДЕКАЛ, — прим. редакции), часто их цитирует, самое популярное у неё —

из Олега Мичкова, которого она лично даже не знает, несмотря на очень пёстрый многолюдный мир знакомых:

*люди которые
меня окружают
меня окружили*

Что во многом отражает мироощущение самого цитирующего. Коллекционера человеческих нравов-типов-характеров, собирателя многолетнего литературного салона в собственной квартире, от многолюдности которого постепенно начинаешь устывать. Уходить во «внутреннюю Монголию», свой собственный мир. А вот такое трёхстишие:

*Снег идёт
На длинных ногах,
Перебиваемых птицами...*

Вполне представимо в каком-либо одекаловском сборнике. Или размышления на

тему «Почему волнует нас / Таракана синий глаз». Ни у Некрасовой, ни у ОБЭРИУ такого не встретишь. Во всяком случае, в чистом виде. Зато там может быть что-то в духе вот таком:

*Розы с ходу
Дали в морду
Серости,
Неумелости.
Размахнулись кулачками,
Запах подняли, как знамя,
А листья и шипы –
Как Троицы щиты.*

Притом это вполне самостоятельный, узнаваемый горлановский мир, перекликающийся и с её прозой, и с её рисованием. Есть, конечно, оттого и минусы. Например, мне, как человеку не верящему ни в попов, ни в политиков, ни в неприкасаемых классиков, несколько раздражительно встречать в поэтических текстах все эти фэйсбук-феминизм-акафист (амитриптилин-парламент-пасха), а также слишком частотное мелькание фамилий из блогов, газет и телерепортажей. Но в целом это не самое главное.

Есть и технические минусы издания – одни и те же тексты в разных местах книги всплывают по несколько раз. Отчего возникает дискомфортное и для писателя, и для читателя ощущение дежавю. Мало авторских картинок, а они отлично дополняют тексты (есть лишь две на обложке). Но плюсов много больше. Стихи Нины Горлановой хороши тем, что соединили лучшее в остальных родах деятельности, свели в общем направлении, казалось бы, несводимое.

Унесли нас в детские края, где возможно всё, потому что неизвестно ещё, чего не может быть, а что возможно. Здесь возможно всё.

Сергей Сигерсон

Снести несносимое

Руслан Комадей. Ошибка препятствия. – Чебоксары: Free Poetry, 2017



В поэзии во все времена не хватает свободы. Каноны классики, цензурный гнёт, религиозные и национальные традиции, правила хорошего вкуса, здравый смысл... Врагов много, поэзии (настоящей) мало. Издательство «Свободная поэзия» пробел пытается заполнить своими силами. Для чего привлекает, например, романтического

начитанного юношу Руслана Комадея из Екатеринбурга. В своих Пенатах он является активистом разного рода поэтических акций, самиздата, фестивалей, чтений. В личном общении Руслан – неглуп, любопытен, скромнен. Рецензируемая книга полна попыток выйти за. Собственно, кроме этих попыток мы там ничего более и не обнаружили.

Типичный пример, из самых коротких:

*зверь конца: Совершення,
раз чейя?
ци формы
20 четырнадцатый,
20009-ни вход.
жит но сам –
мы цифры его верх
родейные, а ночинать
А
унизительная зевота*

В оригинале часть слов набрано ещё и курсивом, часть – жирным шрифтом, между отдельными строками большие пробелы, похожие на пропущенные строки (иногда даже – не одну – что особенно подзрительно).

Но, в общем-то, если вы заставите себя прорваться сквозь этот букволом, то узнаете из книги много интересного. Что автор работает в школе, «почти не угадывая детей». Он же однажды замечает: «Когда я становлюсь велосипедистом, то сразу. Мне присвоили некоторые права». Что «От дня можно спрятаться: крепко прислонившись к прохладному стеклу, лицом». Что «Плотник видел место, где стоял гараж из железа». Что «буквы "А" и "Б" из русского алфавита» (Ого!). И тому прочие чудеса.

Почти все известные по авангардным хрестоматиям приёмы – используются. Почти все стили – имитируются. Почти все препятствия – сносятся. Тут и пустота как текст, и шрифтовые игрища, и заумь в самом заумном виде, и перечёркивание готового текста (который после того продолжает гордо демонстрироваться), и произвольные буквенные кляксы на холсте страницы... Начитанные поэты живут в Екатеринбурге, ничего не скажешь. А вот лучше бы они сказали ничего.

Лично я за брошюрку любого захудалого ничевока из малоизвестных тёмных лошадок «Стойла Пегаса» отдам всё многотомное собрание сочинений Хлебникова и Туфанова. А за прозрения Лоренса Стерна – всю мировую философию. Искусство – это игра, творчество, процесс. Остальное – упражнения в стиле. Банальность можно разбить лесенкой или расположить спиралькой, перемежать заумью либо цитатами сколько угодно, но это не увлекательная игра. Хотя, конечно, кто-то увлекает и каталог гаечных ключей. Пример от противного.

Придуральские ничевсёки на своих поэтических вечерах в конце девяностых годов

с театральными интонациями очень интересно читали, например, куски разорванной тут же на глазах у публики газетной подшивки. А вот образцы нынешних ничевсёческих автоматических хокку с использованием в качестве основы текста подсказок смартфона при наборе текста:

*с отдельными файлами
в процессе работы
фаберже курице летать*

или так:

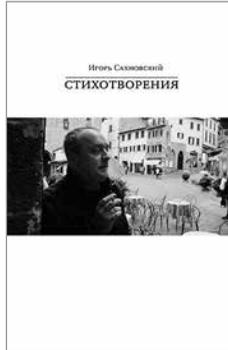
*если дама села на плечи
это письмо потому
их завязывают крепко*

Кроме интересного игрового процесса самого создания текста – присутствует яркая эксцентрическая образность результата. Изящная по форме. Навевающая массу небанальных ассоциаций. Коллажирующая несколько отдалённых реальностей в одну общую новую. Выворачивающая неизменную банальность даже не наизнанку, а наизменку. Это не попытка снести несносимое, а именно снос – взрывом динамита поэзии. Свободной поэзии. Свободной от скуки – в первую очередь.

Сергей Сигерсон

Троя, Итака, Свердловск — и далее везде

Игорь Сахновский. Стихотворения. — Екатеринбург: «Кабинетный ученый», 2018



Когда открываешь книгу стихов, первое, на что обращается внимание, — это неровности, выпуклости.словно проводишь пальцем по гладкой, на первый взгляд, поверхности и вдруг то тут, то там ощущаешь шероховатость. Такой шероховатостью в книжке Сахновского становятся частые перебивки ритма в одном стихотворении:

*...что буду помнить? Как я
был свободен
от страха смерти,
как неуязвим.*

*А в доме на вагонные раскаты
истошно отзывается посуда,
и только-только обжитое
чудо
уже прошито сквозняком
утраты.*

Ритм стиха, в который ты только что погрузился, надламывается. Это заставляет читателя как бы «протереть глаза», уточнить прочитанное. И иногда оправдание такой

ритмической ломке найти довольно трудно: ничто в ткани стихотворения, вроде бы, не обуславливает этого. Но если воспринять сборник как единое целое, если тканью становится весь корпус стихов, то и эти ритмические «швы» оказываются на своем месте. И то, что проходят они в более или менее случайных (на первый взгляд) местах, — объяснимо. Хронотоп сборника так огромен, пространство и время так причудливо переплетены, что иногда поэту просто необходимо продемонстрировать соединяющие их швы. Выпуклые, рельефные, при ближайшем рассмотрении они не выглядят, как небрежные попытки «шить на скорую руку», скорее это — важная деталь, благодаря которой иногда удается соединить пытающуюся разорваться на куски пеструю ткань вселенной.

А вселенная Сахновского в сборнике поистине безгранична.

Хотя путь, который проходит лирический субъект, на первый взгляд, понятен — геометрически выверен и представляет собой замкнутую окружность. Путь из Свердловска в Екатеринбург. Путь от весны к весне. Путь от дома к дому. От себя к себе. Из вечности — в вечность.

Город — один из важных образов сборника. Иногда этот город совершенно четко идентифицируется как род-

ной для поэта Свердловск-Екатеринбург.

*Там Европа и Азия стынут
в обнимке глухой,
монументы в тугих пиджаках
там и тут — на посту.*

*Правда, в Азии можно купить
пирожки с требухой,
и туда европейцы в трамвае
летят по мосту.*

*...
...Впрочем, если разнимешь
туман,
то увидишь подпольный
роман
двух семейных в Основинской
роще.*

Но одновременно это и просто — город. Один из множества в пространстве и во времени. И воплощенная сущность города. И город в истории и в культуре: и Пантикапей, и Итака, и Троя...

*Город проснулся и душу
заполнил.*

*...
Зеленой влажной духотой
Наполнен захолустный город...*

*...
Но не младше нас и не глупее
Тот ребенок, припавший
к камням*

Обреченного Пантикапея.

Связующая нить проходит сквозь всю историю культуры, и на этом полотне вышиты современность и история, человек и вселенная, жизнь и смерть, любовь.

Я так давно тебя люблю,
 что, если б жизнь
 равнялась морю, –
 за Одиссеевой кормю
 пришлось бы мчаться
 кораблю.

В тот город, где рассвет
 встречаются
 и снова ткут –
 на верность и на риск.
 И я уже почти не различаю –
 где ты, где я,
 когда мы начались.

Стихотворная вселенная сборника оказывается густой, насыщенной, яркой. И уже не кажется, что путь, которым я – читатель – пройду, это путь простой и ясный. Не окружность, но спираль, каждый виток которой проходит сквозь новые и новые слои времени и пространства. И уже не удивляет, что один бассейн составляют маленькая уральская речушка Бисерть (на берегу которой стоит одноименный населенный пункт) и могучий Нил.

Вообще мир «Илиады» и «Одиссеи» настолько универсален, что позволяет на своем густом и прочном растворе строить все новые и новые поэтические города. И для Сахновского этот материал тоже благодатен. Центральное место в поэтической книге занимает большое стихотворение «Возвращение» – концентрация смыслов и образов всего сборника – как светящийся изнутри волшебный шар.

В нем отражено единство мира, «немыслимое родство» «между земными хижинами пчел / и легкой плотью / неприкаянных снежинок».

И может быть, вселенная
 во всем
 себя самолюбивно отразила.
 Сперва на помочах меня
 водила,
 но, отказавшись быть
 поводырем,
 смотрела мною,
 мною осязала
 и слушала свое большое тело.

Видится здесь родство с Заболоцким. С его неделимостью человека и природы. Но интересно и другое пересечение. Заболоцкий – один из переводчиков «Слова о полку Игореве», а Игорь Сахновский как бы видит в своем поэтическом мире и самого себя как древнерусского князя Игоря. Но события «Слова...» у Сахновского рожают нечто новое и парадоксальное.

...Это пьяный от крови Кончак
 похваляется легкой добычей.

Он послал в наше древо
 стрелу,
 оперенную яростью меткой,
 но ударит она по стволу
 и – вращет,
 и останется веткой.

Тут на ум приходит вещий Боян, растекающийся мыслию по древу. Ой, не в то ли самое древо входит конча-

ковская стрела и прорастает новой культурной ветвью... И здесь же князь Игорь... Тут совершенно закономерно, что Игорь – одновременно и князь, и поэт:

Мне имя собственное странно,
 так и не понятое мной:
 как будто князь на поле
 бранном
 лёг
 к мирозданию спиной.

Что началось однажды, останется навсегда. И все связано со всем. И все зависит от всего. И все принадлежит всем. И человек, эта песчинка в огромном мире, оказывается одновременно и творцом, и хранителем. И тогда «смерти нет», а есть «желторотая тростинка», извлекая из которой простую музыку, человек все глубже понимает свою Сопричастность природе, времени, культуре...

Как дышит маленький Гомер
 Всемирной нашей Илиадой.

Гомер, дышащий Илиадой, как маленький мальчик, которого мама усадила над миской с горячим картофелем, накрыла голову полотенцем, и мальчик дышит, дышит, чтобы выздороветь. Так и читатель сборника Игоря Сахновского имеет шанс к последним стихам прийти с оздоровленной душой.

Александр Моисеев

Виталий Аширов родился в 1982 году. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Работал копирайтером и редактором. Пишет прозу и стихи. Публиковался в журналах «Нева», «Юность», «Здесь», «Опустошитель», интернет-ресурсах «Полутона», «Топос», «Новая реальность» и «Мегалит». В издательстве «Кабинетный ученый» (Екатеринбург) готовится к выходу дебютная книга. Живет в Перми.

Ольга Балла родилась в 1965 году в Москве. Окончила исторический факультет Московского педагогического университета. Журналист, редактор отдела философии и культурологии журнала «Знание — сила», редактор отдела публицистики и библиографии журнала «Знамя». Автор более полутора тысяч статей, эссе, интервью о литературе в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Октябрь», «Знамя», The Art Newspaper Russia, на сайте «Радио Свобода», «Литература» и трех книг «Примечания к ненаписанному» (2010), «Упражнения в бытии» (2016) и «Время сновидений» (2018). Живет в Москве.

Семен Ваксман родился в 1936 году в Ставропольском крае. Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (1959). Автор книг «Лик земли» (1967), «Златые горы» (1989), «Условный знак» (1991), «Дым» (1999), «Я стол накрыл на шестерых: роман» (1999), «Путеводитель по Юрятину» (2005). Публиковался в журналах «Вопросы литературы», «Уральская новь», альманахе «Третья Пермь» и др. Живет в Перми.

Даниил Емцев родился в 1999 году в Перми. Учится на факультете современных иностранных языков и литератур Пермского университета. Участник фестиваля «Компрос». Ранее не публиковался. Живет в Перми.

Вера Котелевская родилась в 1974 году в посёлке Оредеж Ленинградской области. Окончила Ростовский государственный университет (1997), кандидат филологических наук (2002). Член Российского союза германистов. Доцент кафедры теории и истории мировой литературы факультета филологии и журналистики Южного федерального университета. Автор трех поэтических книг: «Оды промзоне» (2010), «Береговая география» (2011), «Чу!» (2012) и монографии «Томас Бернхард и модернистский метароман» (2018). Стихи публиковались в журналах «Дети Ра», «Зинзивер», «Новая Юность», «Воздух», «Двоеочие», «Цирк Олимп + TV». Участвовала в проекте «Русская поэтическая речь» (2016–2017). С 2012 года пишет «Книгу фигур» — сборник поэтических миниатюр, связанных модернистской идеей слова как персонального шифра в разноречии культур и эпох. Живет в Ростове-на-Дону.

Саммер Ленц родилась в 1984 году в поселке Жуланово Соликамского района, окончила факультет филологии и массовых коммуникаций Нижнетагильского социально-педагогического института. Участвовала в сетевых литературных конкурсах. Ранее не публиковалась. Живёт в Красноуфимске.

Юлия Подлубнова родилась в 1980 году в Свердловске. Окончила филологический факультет Уральского государственного университета, кандидат филологических наук. Заведующая музеем «Литературная жизнь Урала XX века», научный сотрудник сектора литературы ИИиА УрО РАН, доцент Уральского федерального университета. В качестве литературного критика публиковалась в журналах «Урал», «Знамя», «Октябрь», «Волга», «Литература» и др. Как поэт публиковалась в журналах «Урал», «Реч#порт», «Плавучий мост», антологиях «Согласование времен», «Екатеринбург 20:30», 4 томе антологии «Современная уральская поэзия», на портале «Полутона». Лауреат премии журнала «Урал» за серию рецензий (2015). Автор сборника стихов «Экспертиза» (Екатеринбург, 2007) и книги «Неузнаваемый воздух. Книга о современной уральской поэзии» (Челябинск, 2017). Живет в Екатеринбурге.

Ирина Подюкова родилась в городе Мантурово Костромской области. Окончила филологический факультет Пермского педагогического университета. Преподавала в вузе, в школе, работала журналистом. Публиковалась в журналах «Главная тема» (Москва), «Твои стихи» (Киев). Автор сборника стихов «Наверх, по лунному лучу» (2010). Живет в Перми.

Сергей Сенковский родился в 1968 году в Одессе. Вскоре вместе с семьёй переехал на Урал. Учился на историческом факультете Уральского государственного университета. Работал экскурсоводом, сторожем, корректором, печатался в свердловских и пермских газетах и журналах («Вечерняя Пермь», «Звезда», «Молодая гвардия», «Урал»). Живет в Перми и Санкт-Петербурге.

Елена Сиренева родилась в 1980 году в Перми. Один из главных активистов арт-коммуны «ОДЕКАЛ», участник многих выставок, акций и самиздатских изданий. Живет в Перми.

**Проект осуществлен при поддержке
Министерства культуры Пермского края**

Вещь: Литературный журнал. – Пермь: Издательство «Сенатор», 2019. – 130 стр.

Редактор:
Павел Чечеткин

Выпускающий редактор:
Юрий Куроптев

Дизайн обложки:
Иван Моисеенко

Верстка, дизайн:
Евгения Тесленко

Корректор:
Марина Артемова

Рукописи для публикации принимаются по электронному адресу:
e-mail: senator.perm@gmail.com

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются. Мнения авторов могут не совпадать с мнением редакции. При перепечатке материалов ссылка на журнал «Вещь» обязательна.

Тираж 200 экз.

Адрес редакции:
614000, г.Пермь, ул.Луначарского, 21
Тел. (342) 212-32-17
e-mail: senator.perm@gmail.com

18+

© «Вещь», 2019
© Авторы, 2019
© Издательство «Сенатор», 2019

